

- **ГАНГСТЕРЫ И МУЗЫКАНТЫ** - новый роман
Леонида Гиршовича
- **ПОХИЩЕНИЕ В ПОЛДЕНЬ** - новая пьеса
Нины Воронель
- **ФАНАТИЗМ И РАВНОДУШИЕ** - А. Воронель
и Я. Шехтер о путях развития нашего общества
- **„ДВА ИГРОКА“ - „ПИКОВАЯ ДАМА“**
А.С. Пушкина как отражение жизненного
опыта автора
- **ОРДЕН ЛЕНИНА НА ГРУДИ РИББЕНТРОПА** -
новые архивные материалы о Советско-
Германском Пакте 1939 г.

94



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
МОСКВА

≡ № 94 ≡

**ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ**

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Издание общественно-культурного фонда
«МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ»
под покровительством Комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СНГ
и Сионистского Форума.
Лауреат премии Р.Н. Эттингер за 1984 год.*

94

**1994
ноябрь-декабрь**

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА:

Леонид Гиршович. Бременские музыканты	3
Юрий Клятис. Гемикрания	86
Нина Воронель. Покушение в полдень	94

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Евгений Сошкин. Взгляни – огонь сквозь пыль... ..	111
Б. Кокотов. Сердце глухо болит по ночам... ..	112
Екатерина Молостцова. Ямбы	114

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Александр Воронель. Божество и вдохновенье	116
Яков Шехтер. На пути к «Мединат Галаха»	130

НАШИ СОСЕДИ:

Иегуда Литани. Исламское движение в Израиле и на территориях	139
---	-----

УКАРТЫ МИРА:

Сеид Бешарми. Таджикский мемуар	145
---------------------------------------	-----

ФИЛОСОФИЯ:

Бен-Барух. Ритм	173
-----------------------	-----

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ:

Владимир Свирский. Два игрока	186
-------------------------------------	-----

СТРАНИЦЫ БЫЛОГО:

Валерий Смоленский. Орден Ленина на груди Иоахима Риббентропа	208
--	-----

ЛЮДИ И КНИГИ:

Леонид Колганов. Быт и бытие Бориса Камянова	216
--	-----

На последней обложке журнала: Борис Чичибабин.

ПРОЗА

Леонид Гиршович

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

СКАЗКА О ТОМ, КАК ОДИН ЧЕЛОВЕК БОРОЛСЯ
С БОГОМ И БОГ ЕГО ПОБЕДИЛ

Бойся!

– Мне на три с половиной минуты нужно написать об уличных музыкантах – что в Германии милостыню подадут скорее им, чем просто нищим. У нас наоборот, скорее из жалости кому-то кинут. Здесь человек как бы зарабатывает.

Это было поверхностно и неверно. Я, понятно, возражать, не стал – милая женщина, пишет рассказы, а недавно удалось зацепиться в Германии, подрабатывает на „Немецкой волне“. Да и почему я знаю, как теперь у *них*. В мое время гималайского медведя было проще встретить на Невском или на Арбате, нежели музыканта, который бы там себе свободно пиликал. Что ж, и *Арбат махт фрай*. За двадцать без малого лет я даже в шуточках сугубо на *немецкую волну* настроен. Сколько, кстати, мне потребовалось, чтобы перестать говорить о той жизни и о живущих там в первом лице – года полтора-два, вероятно? А собеседница моя еще и года в Германии не *находится* (умышленный глагол; сейчас, правда, какая-то жизнь здесь все же забрезжила, хотя бы впервые за много лет зазвонил телефон).

Сказанное в скобках не относится к моему разговору по телефону с „питерской рассказчицей“ – как она будет представлена радиослушателям, если, конечно, три с половиной минуты

про уличных музыкантов пойдут в эфир. Поскольку „питерская рассказчица“ живет не в Ганновере, то я предпочитаю звонить к ней сам, из театра. Это экономия для нас обоих. То, что она бедна – понятно, откуда там взяться деньгам. Но и мои финансы уже давно поют романсы.

Не буду перечислять постатейно расходы, одно скажу: когда их вычитаешь из „приходов“, каждый месяц получается минус пятьсот, минус тысяча марок. Совершенно при этом лишен смысла вопрос „а приход-то каков?“ – с помощью которого люди „мимоезжие“ пытаются понять, сколько же, собственно, у тебя денег. Размеры состояния определяются не величиной доходов, а привычками и образом жизни – сказал Цицерон. Впрочем, это из разряда суждений, который каждый с легкостью относит на свой счет. А вот на чужой, банковский, да когда банк немецкий... Автор сего парадокса, Цицерон тоже не составлял исключения, хотя – черт возьми! – подкинул бы мне кто парочку его *талантов*, я б и горя не знал.

Мысль, что дыра в твоём бюджете уже с озеро Лохнесс, подобно обитателю последнего спорадически всплывает в сознании, то сея панику, то рисуя, в духе веселого отчаяния, такие, к примеру, сценки: хватаешь скрипку, становишься играть посреди улицы, и вдруг не пфенниги, а сестерций! сестерций! сестерций!

Я поделился с моей собеседницей собственными наблюдениями за уличными музыкантами. Оказывается, я тоже за ними наблюдал. Она признала мои наблюдения основательными, „но, – успокоила она себя, – недостаточное знание предмета всегда оставляет простор для оригинальных мыслей, тогда как в вопросе, исследованном досконально, добирать даже не столько *нечем* (улыбнулась мне вежливо трубка), сколько *негде*“. Тем не менее я бесстрашно демонстрировал *доскональность* своих познаний в этой области:

– В Германии уличные музыканты подразделяются на две основные группы – на немцев и иностранцев. В немецкой группе можно выделить молодежные медно-духовые капеллы. Возраст их участников 17-22 года. Заработок для них неотделим от удовольствия поиграть на публике. Некоторые из них – будущие профессионалы. В декабре эти музыканты, красноносые, в

митенках, иногда припорошенные снежком, создают неповторимую атмосферу немецкого рождественского города. Отовсюду доносятся колядки пятнадцатого-шестнадцатого веков, исполняемые на три, четыре, пять голосов трубами, валторнами, тромбонами. Гофман, Гауф, весь немецкий романтизм, весь немецкий святочный мир – как живой! Нередко оркестрик представлен одной инструментальной корпорацией: трио тромбонистов, у которых над верхней губой еще только-только что-то пробивается, или дуэт маленьких трубочей. Легко представить себе, как дорог немецкому сердцу этот звучащий „танненбаум“ – может быть, дороже всех выставленных в витринах елок и дедов-морозов.

„Деревянные духовые, – продолжал я лекцию, – к которым относятся кларнеты, гобои, фаготы, услаждают слух прохожих намного реже. Кажется, уличных гобоистов мне никогда не доводилось видеть. Кларнет в руках нищего музыканта превращается либо во что-то очень клезмерское, либо в джазовое, саксофонное. Неуличный какой-то и фагот – инструмент, название которого Булгаков, очевидно, находил очень смешным. Иным покажешь палец, они тоже смеются. Мне почему-то кажется, что фагот должен быть распространен среди выпускниц американских колледжей, но, возможно, это как раз и есть одно из тех оригинальных суждений, которые высказываются по недостатку знаний. Фагот был противопоставлен скончавшемуся от чахотки композитору Калинникову, вынужденному играть на нем ради заработка, но опять же не на улице. Как я слышал, курс фаготовых наук непродолжителен. Еще советую обратить внимание на носы играющих на фаготе – как они превращаются в орлиные клювы. А в общем, деревянно-духовые – это конек французов, недаром оркестровая сборная мира комплектуется по принципу: русские струнники, французское дерево и немецкая медь.

„Особая тема – флейтист, играющий „у прохожих на виду“. Игра на флейте – для некоторых это больше, чем просто игра на музыкальном инструменте. Это эстетически шире. Это... это ну как *скрипачка* в эпоху „югендштиля“ или как *виолончелистка* сегодня. Но когда музицирование уже больше, чем просто музи-

цирование, книга больше, чем просто книга, стихи больше, чем стихи, поэт больше, чем поэт, тогда начинает действовать что-то вроде закона сохранения материи. И это к любой многозначительности относится – и сформулировано может быть так: все, что имеет претензию быть больше самого себя, перестает быть самим собою. Проходя мимо флейтистки, сосредоточенно плюющей в свою флейту баховское „бадинери“ из h-moll'ной сюиты, какая-нибудь немецкая бабушка или тетушка – с ее безошибочным чутьем – не остановится, не полезет за кошельком. Она видит фальшивку, театр. Что ей Менцель, Мане, что ей флейты греческой тэта и йота – она скорее подаст сыночку-тромбонисту.

„Струнный квартет бывает, обычно, представлен второй скрипкой. Раз, по дороге на репетицию, я видел басиста негра, но, во-первых, негра – не немца, во-вторых, это был уже по существу барабан, а не контрабас; когда я возвращался, импровизация пиццикато – как и три часа назад – была в точке кипения. Скрипач же немец тихо играет неведомо чего, а если вам вдруг удастся понять, что же именно, то считайте, вы победили. Правда, есть жанр виртуозной игры под магнитофонный плейбек – быстрой, фальшивой, страстной – заглушаемой оркестровым тутти.

„Певец или певица где-нибудь в гулкой галерее – это помешанный или помешанная. Строго говоря, все певцы без ума от своего голоса, но безумие одних считается оправданным – общество его разделяет, другие же тщетно пытаются вербовать себе поклонников из числа прохожих, среди которых ведь может оказаться и директор театра. Еще есть баптисты, что по воскресеньям выстраиваются в кружок на весьма людном ганноверском пяточке, именуемом „Крёпке“. Под гитару пастыря все стадо распевает в эстрадных ритмах о своей любви к ближнему.

„Наконец, совершенно классическая категория уличных музыкантов, которые при всем при том музыкантами не являются. Это шарманщики.

„Это что касается немцев. Иностранцы, выступающие на улицах немецких городов с музыкальными номерами, не просто *уличные*, они – *бродячие* музыканты, как были в старину бродячие циркачи, бродячие актеры. Лишь с той разницей, что в старину не знали конвертируемой и неконвертируемой валюты – при-

чина, по которой тот же бродячий музыкант нынче может вести у себя на родине вполне оседлый образ жизни. Девочка закончила с отличием бухарестскую консерваторию по классу валашской свирели, выступала в правительственных концертах перед Чаушеску, а теперь, после смерти последнего, выступает перед „Квелле“. Еще несколько лет назад в Ганновере с отечественными уличными музыкантами конкурировала лишь фольклорная группа перуанских индейцев – маленьких глиняных головастик в белых пончо и черных шляпах; несколько раз негр подолгу заходил в пиццикато над контрабасом. Сегодня же у памятника Шиллеру звучат балалайки, поют и играют лауреаты конкурсов чешской и польской эстрады, и недалек тот день, когда из Москвы и Ленинграда прикатят на предмет уличного музицирования целые *симфонические* оркестры, участники которых будут лихорадочно переводить по курсу „один к двадцати“ каждый поданный грошик.

Мне пришлось извиниться и сказать „пока“ – они почему-то считают, что я слишком долго говорю по телефону, им он тоже нужен. У них наготове электронные записные книжки. В отличие от моего, их разговор будет вестись на государственном языке – краткий и ясный: такого-то позвать на репетицию, условиться с музыкальным мастером, справиться о здоровье фрау Клик, и, если здорова, чего же, зараза, не перевела деньги за недельную халтуру на гамбургском радио? Словом, деловые разговоры довольных своей *общепринятостью* людей, среди которых я – фигура полукомическая (за что, собственно, и терпят), полутшнотворная. Вечно расхристанный, толстый, все делающий невпопад чужак. Пожалуйста, без скороспелой морали: потому что в ленинградском оркестре – Боже мой, неужели это когда-то было! – я чувствовал себя не лучше, а даже хуже – по причине общего бесправия и невыносимой дикости кругом. Конечно, все это лишь видимость жизненных неудобств, моя достойная сочувствия оболочка обманчива. Компенсация происходит благодаря такому „луна-парку“ внутри, с таким множеством аттракционов, рассчитанных только на одну персону, что некоторое имманентно присущее данной персоне занудство, „чтобы все

по порядку“ – есть сугубо благо, есть стабилизирующий груз (в силу этого я обладаю счастливой способностью доводить начатое до конца). То, что мне помешали с должной обстоятельностью обрисовать *господствующие тенденции в кругах уличных музыкантов*, немедленно обернулось длительной беседой – но уже по другому телефону, воображаемому. Это мой случай: впечатлиться и долго еще разговаривать с голограммой вместо живого человека. Такая „неотключаемость“ мыслей и чувств свидетельствует об известной пассивности по отношению к предмету, а не наоборот, как может казаться. Ну что мне эти уличные музыканты... во прицепились! А только все второе действие „Волшебной флейты“ я без умолку о них болтал с „питерской рассказчицей“.

– Но здесь вот какой момент, – обожаю этот оборот речи. – Классификация уличных исполнителей должна быть дополнена классификацией их слушателей. (А на сцене между тем звучит: „Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich“). Возьмем антивоенного вида девушку в палестинской косынке: эта будет слушать „кантри-мюзик“ – борцы с Америкой, как правило, ее тайные вздыхатели. Тогда как формальные союзники USA, голосующие за CSU, скорей уж прослезятся при звуках шарманки. Тут много парадоксов: скажем, миролюбивейшая Германия... Парадоксальным было всегда и мое положение. Советский эмигрант, я как бы оказывался единомышленником своих врагов и врагом своих друзей. Только единицы из тех, кто эмигрировал в начале семидесятых, предали светлые идеалы антикоммунизма за право дружить с очень хорошими людьми (это разные политчехи пусть перекрашиваются). Случалось, отдельный левый прощал мне мой *фашизм* за то, что я – русский еврей. Так было со славной дылдой Иоганной Витциг – „Иоганной, не помнящей родства“: я спросил у нее – давно, еще лет десять назад – откуда ее родители, на что она небрежно бросила: откуда-то из „Остпрройсен“, она никогда не интересовалась. Правда – не интересовалась или только чтоб я чего не подумал? Тогда Иоганна носила всякие лиловые шаровары и торбу через плечо, на торбе, помню, эмблему урафеминисток: оплодотворенную ротфронтским кулаком яйцеклетку. Несмот-

ря на это, по словам Фунтика, с Иоганной можно вести вполне дамские разговоры, что мой Фунтик и делает – точнее, делала, мы уже сто лет Иоганну не видели, она теперь, после того как сняла фильм, стала важная.

„Особая тема, ее тоже надо коснуться – психология уличного музыканта. Не каждый в людном месте встанет и начнет играть. Что творится в этот момент в его душе? Каким он сам себе видится? Какими видимся мы ему? У меня эмоциональный опыт есть, правда, очень относительный и давний. Случалось, в Ленинграде мне подворачивались халтурки в кино – играть перед тремя вечерними сеансами, соответственно за трешку. Решительно не имея в том необходимости, я всегда соглашался. Игра в фойе кинотеатра казалась *падением*, главным образом, ввиду репертуара и антуража. В свои девятнадцать лет работавшему в фирменном оркестре, мне этот маскарад был в кайф: вот *он*, играющий румбы для тех, кого презирает, суровый и гордый неудачник. В него плюют семечками (в действительности семечек не лугали никогда, а ели мороженое). Сейчас он отыграет постылые румбы, сложит скрипку, выйдет на Невский. Моросило. Он идет, ни на кого не глядя: „Всегда быть в маске – судьба-а-а мо-о-о-я!“ В Эрмитаже я смотрел на розовых гимнастов, арлекинов, которые тоже могли о себе воскликнуть: „Пусть я шут, пусть циркач, ну так что же!“ – заткнув при этом рты вельможным мещанам славою создавшего их Пикассо. Смотреть *глазами клоуна* – клёво: Бёлль, Западная Германия, тротуар, упала первая монета. Настолько клёво, что на общеоркестровом собрании в мою честь директорша выбила десять из десяти возможных, говоря моим линчевателям – а уж как старались господа коллеги, передать не могу: – Да пусть, да пусть уезжает, думает миллионером стать. Подаяние просить будет, я видала там на улице безработных музыкантов, прекрасных, куда ему до них.

„Я думаю, что уличный музыкант под скальпелем хорошего психолога... – я полюбовался сказанным на свет, поднес ко рту, еще немного подышал, снова протер и снова посмотрел на свет. – Я думаю, что *основной мотив игры на улице* будет у всех: „О сладость унижения! О *вершина падения!*“

Отразившееся в зеркале над комодом письмо, когда я зажег свет в прихожей, напомнило мне об отложенном до вечера решении (согласно зеркалу, висевшему чуть наклонно, письмо должно было давно соскользнуть с комода на пол). Советский конверт не спутаешь ни с каким другим: аляповатая акварель, разметка *куда*, ниже *кому* и еще ниже под чертой, как при вычитании столбиком (из большего вычитается меньшее), *адрес отправителя*. Детский почерк последнего – старательно выведенные латинские буквы – тоже признак советской корреспонденции.

Письмо же было из Харькова, от Берковича – десятой воды на киселе, одного из эпизодических персонажей моего детства. Бывало, что он коротко гостил у нас в Ленинграде, и тогда в холодильнике появлялись невиданные „колбасные изделия“ – у себя в Харькове он был директором чего-то *мясистого*. Теперь тоже собирается в Израиль. „Намыливается“, говорила публика когда-то – как раз когда берковичи сидели на своем добре и в ус не дули. У этого, правда, дочка в Израиле – ее первый муж, я слышал, там застрелился. Беркович писал – кроме того, что Фаина Львовна вернулась на прошлой неделе „из Друскеников“ и что у них все по-старому, а кто-то болеет (я никогда не знал толком своей украинской родни): „А от Ирочки пришли чудные фоточки. Мы с Фаиной Львовной надеемся в скором времени сфотографироваться с ней вместе. Я начал брать уроки фотографии, и есть первые успехи. В связи с этим у меня к тебе будет такая просьба. У вас очень хорошие фотоателье. Я послал несколько пленок на проявку. Пожалуйста, позвони, спроси, готовы ли они, и если готовы, то заberi, чтобы у тебя полежало. Это надо звонить в город Циггорн (следуют код и номер), попросить к телефону Яцека и сказать, что ты от Рафы“.

Беркович всегда казался мне стариком, хотя было ему, когда мы в последний раз виделись, пятьдесят от силы. В моих воспоминаниях, уходящих корнями в пятидесятые годы, дядя Рафа дарит мне игрушечную коричневую „Победу“, сыплет прибаутками: „Что ты, что ты, что ты, что ты, я солдат десятой роты...“ От нас, замшелых-домашних, его, как и всякого, кто с дороги, отличает парадный вид – и на каждом госте лежит своеобразный

глянец, от каждого приезжего исходит праздничное возбуждение, отчего в моем представлении сильно выигрывали все эти харьковцы, винницы, славути. Я не обременен чрезмерным грузом сентиментально-детских воспоминаний, но высокомерно отрицать всякое их наличие тоже не могу. Другое дело, Циггорн лежал в трехстах километрах от Ганновера – я еще утром нашел его на карте. Билет в оба конца стоил марок двести по меньшей мере.

„Так-так, и Беркович тронулся, – подумал я, подлавливая себя на невольном злорадстве. – Наверное, за годы трудов, не слишком праведных – на разных мясокомбинатах – фотопленок у него немало скопилось. Как теперь с ними быть? Всего не проявишь. Ему уже под семьдесят... бедняга (я устыдился своего чувства)“. Все сейчас в Израиль как с цепи сорвались... неплохо сказано. *В Израиль как с цепи сорвались*. Встречи по прошествии пятнадцати-двадцати лет там, вероятно, сплошь и рядом. В нормальной жизни такое бывает нечасто, а тут серийное превращение тридцатилетних, раз – в пятидесятилетних! Пятидесятилетних, раз – в семидесятилетних! Сколько же еще приедет в Израиль, триста тысяч? Миллион триста тысяч? Три миллиона? На что они все рассчитывают? На что рассчитывают мои коллеги, например? Стать уличными музыкантами?

...Нет, положительно эти уличные музыканты от меня сегодня чего-то хотят, пристали как банный лист. Банный... манный... странный... осанна... Что с Берковичем-то делать? Бросить его сокровища на произвол судьбы? Придраться к чему-нибудь в письме и начать себя уговаривать, что он такой-сякой, местечковый нахальный еврей. В мое время, в начале семидесятых, не ехал, при комуняках славно жилось. У самого как пить дать партбилет в кармане. Член КПСС Беркович отдыхает с женой в Друскениках... Омерзительно! И чтоб я еще перевозил ему... интересно, что у него там?

Словом, не Бог вещь какая наука: так управлять парусами своего благородства, чтобы в них всегда дул попутный ветер. Мне это не к лицу. Да и позвонить прежде Яцеку надо – „Яцеку Курону“... (Сразу видно, что выписываю „Русскую мысль“. Еще недавно, когда узнавали мое имя, то тут же *ослоумно*

спрашивали: „Бриежниефф?“ Теперь забылось. Для меня „Яцек“ – Яцек Куронь.)

Было уже полдвенадцатого, „Волшебная флейта“ – длинная вещь, и чтобы в Германии звонить в этот час к незнакомому человеку, нужно быть пьяным. (*Неординарное решение.* Хенсхен хочет куда-то позвонить, жена говорит, что в этот час может звонить к людям только пьяный. Тогда он предварительно напивается. Ха-ха-ха. Остфризский юмор.)

К Яцеку я позвонил на другой день из театра – по той же причине, по которой только из театра я звонил к „питерской рассказчице“, автору заметки об уличных музыкантах. У меня даже возникло придурковатое желание сказать – когда он возьмет трубку: „День добрый“ (не иначе как где-то в мозгу крутился в этот миг „свет божий“). Мне представился этот Яцек: глаза бегают, тонкая шея, перед ним раскрытый чемодан. Попался. Как раз на днях один оркестрант, по имени Адам – тоже национальное польское имя, шутил: „Человечество сошло с ума, – говорил он. – Поляки торгуют, евреи воюют, немцы борются за мир“. Да, это тебе не остфризский юмор, это типичная *страничка польского юмора*.

– Алло, могу я говорить с Яцеком Куронем?

Нет-нет, я этого не сказал, Боже упаси, мог – помимо своей воли, как в анекдоте, помните? „Полыхаев, дай меч“.

– А кто его спрашивает? – спросила женщина, помолчав. Должно быть, между собой шептались, пытаюсь угадать: враг? друг?

– От дяди Рафы.

– От кого?

– Ну, от Рафы из Харькова. Я письмо от него получил, где он дает ваш номер телефона и просит, чтобы я позвонил к Яцеку. Я звоню из Ганновера.

Наконец, мужской голос – сама настороженность – говорит:

– Я слушаю.

– Здравствуйте. Это Яцек?

– Да.

– Я от Рафы. Он прислал мне письмо, в котором...

– Хорошо, приезжай. Адрес знаешь?

– Нет.

Я почувствовал, что это было воспринято с облегчением. Логика проста: если б я был не тот, за кого себя выдавал, то знал бы адрес.

– Корчакштрассе двенадцать, квартира семьдесят. Приезжай завтра.

– Как завтра? Завтра я...

– Завтра, понял? Ровно в двенадцать часов дня. С письмом от Рафы.

Раздались короткие гудки.

Я сам беленький – не совсем в духе нашего прихода, порой, не в ногу шагаю, вероятно, в глазах большинства – с закидоном, но в смысле масти можете не сомневаться: беленький. А тот – черненький. Беленьким же черненькие противопоставлены, если только те и другие не шахматные фигуры. Но я не умею отступить, у меня плохо с тактикой – вот в чем дело. В этом отношении я идеальный объект для провокаций. Еще же – прекрасная игрушка в руках случая, когда он не совсем слеп, а немножко подглядывает. Судите сами: после такого разговора я не то что не сказал себе: „Э, брат Пушкин, долго же нас там будут ждать“ – но, напротив, имея даже самые неотложные дела завтра, нашел бы способ их отложить и в двенадцать быть как из пушки в Циггорне, на Корчакштрассе двенадцать.

Загвоздка была в другом, в недостатке наличности, которую Фунтик, уезжая на Зюльт, всю прикарманила – мне были оставлены две полсотни, что на четыре дня даже терпимо, когда не играют в рулетку, не ужинают в ресторанах, не носят галстуков от Черутти и... не отправляются в незапланированные путешествия. А нырять в озеро Лохнесс, понимай банк, прежде чем туда нырнет очередная получка, снова запускать руку в пасть чудовищу – я боялся, что оно ее, в конце концов, откусит. Фунтик, хотя и клятвенно обещала расплачиваться только чистоганом, все же „Америкэн Экспресс“ сунула в последний момент в сумочку – по ее словам, „чтобы кошмарики не снились“.

Зато „кошмарики“ после этого должны были начать преследовать меня – ночные, дневные, утренние, вечерние. Я знал ту компанию и знал моего Фунтика: там была семья, которая,

благодаря зубоврачебному поприщу обоих супругов, вела счет месячным заработкам на десятки тысяч. Фунтик это хронически упустила из виду. Сейчас обе дамы, по причине школьных каникул погрузив детей в роскошный „лендровер“, отправились на снобистский курорт. Одна пойдет по магазинам, но ведь и другая пойдет за ней – как гласит реклама: „Приятно делать покупки вдвоем“. Тому ребенку будут куплены штанишки в пижонском бутике, значит, мы тоже должны своих детей осчастливить каким-нибудь, на мой вкус, совершенно клоунским нарядом. И сколько ни говорил я, что в „Квелле“ можно купить в десять раз красивей (да еще со сдачи подать монетку девочке, играющей перед входом маленькие прелюдии и фуги на валашской свирели), всегда в ответ слышал: „Купленное в „Квелле“ после первой же стирки можно выкинуть“. Или: „Ну и будут оба как из сиротского приюта“.

А эпопея с машиной! У тех два автомобиля: „лендровер – фюнк таузенд“ и „ягуар мегаполис“.

– Хочу тоже „ягуар“. Согласна, пусть не новый – двухгодичной давности. Я пашу целыми днями – имею право. Жить в Германии уже столько лет и во всем себе отказывать!

Это правда, Фунтик у меня действительно работает, как вол, но я же не виноват, что волам платят мало, потому что волы выполняют неквалифицированную работу.

– Женщина за рулем „ягуара“ – это kitschig (Фунтик утверждала, что слово „пошлость“ обожают пошляки, потому пользоваться им было рискованно). Еще надень черные очки и белый парик, а в бардачке чтоб лежал пистолет.

От покупки „ягуара мегаполиса“ двухгодичной давности мы отказались, когда смотрели по телевизору передачу о всемирном съезде близнецов в Валла-Валла.

– А нет случайно такого городка Гумберт-Гумберт? – спросил я.

– Нет, – сказала она, – есть Баден-Баден.

(„Ну конечно, Баден-Баден! Следующий съезд близнецов состоится в нем“.) Близнецы прогуливались, общались с другими близнецами, позировали перед камерой – при этом пары не разбивались (был бы номер, если б они все перемешались и

ходили по одиночке), каждая чета была однополой, в одинаковых платьях или костюмах.

– Вот вы тоже будете на двух „ягуарах“.

И – возымело действие.

Две бежевые купюры („пятидесятирублевки“ с Фуггером) – все, чем я располагал. Я не разменял их за истекшие два дня моего соломенного вдовства и даже думал сделать заначку: еда наготовлена, одних толькопельменей слеплен целый противень, сварена чудовищных размеров кастрюля супа, было и что-то к чаю, и сырки-творожки, и чего только душа твоя не пожелает, Иван Царевич. У дверей всегда был наготове дамский велосипед марки „Фатерланд“ (я весьма коротконог и, как уже говорилось, толст), не спеша крутить педали по разлинованному дорожками Ганноверу одно удовольствие.

Коль уж коснулись темы велосипедов, то скажу: велосипедист – беспринципное существо в том плане, что возмущенно трезвонит всякому, кто посмел ступить на его священную тропу, и в то ж время рядится в овечью шкуру пешехода – стоит какому-то водителю произвести неугодный ему маневр. Я же еще и из числа тех нахалов, что, рискуя быть оштрафованными, ездят через пешеходную зону. Это как игра: я должен увидеть полицейского раньше, чем он меня – чтоб успеть соскочить с седла. Шансов больше у меня, ведь в отличие от противника я только и делаю, что ищу его глазами.

Пока доедешь от Крёпке до Штейнтора, увидишь с десяток манифестаций – партийных, церковных, в защиту животных и прочих; услышишь, как новейшие коробейники, профессионально резвые, скороговоркой выбалтывают в микрофон заученные фразы – я не говорю об уличных музыкантах (ну, может быть, хватит уже о них говорить!). В этом бедламе проще пареной репы наехать на „чей-то чулок“. А то – наихудшее! – какой-нибудь двухлетний бэбка, бежавший, казалось, совсем в другую сторону, непредсказуемо побежит тебе под колесо... Предположим, даже ничего не произошло – ссадина, просто разревелся, сидя в луже. Потом никаких денег не хватит откупиться. Еще неизвестно, во что Зюльт обойдется. А тут начнется кафкианский

процесс, это сколько же тысяч такой процесс потребует? Зюльт... ну хорошо, тыща марок сверх запланированного – готов? Подписал бы? Тыщу марок, но уже больше ни пфеннига... О'кей, тыща двести – но уже точно все. Что бы в таком случае делалось на счету? Сейчас придет зарплата, треть минуса она, скажем, покроет, взнос за квартиру через две недели...

Есть! (В этом восклицании какое-то шизофреническое торжество. Говорил же сам себе: не езди по пешеходной зоне. Три минуты пройти что стоит? Теперь пеняй на себя.) Я сижу на асфальте, по которому проехался ладонью и коленом – против меня с растерянным видом такой же поверженный велосипедист. Вор у вора...

Зато после спектакля я еду по пешеходной зоне легально, в этот час не возбраняется. В течение дня запруженная народом, она сейчас безлюдна. „Царь и плотник“ Лортцинга тоже не самый короткий спектакль, но все-таки не „Волшебная флейта“, не три с половиной часа. Сегодня я даже успеваю послушать одиннадцатичасовые новости по Би-Би-Си – как там парад прошел на Красной площади, Горбачева не застрелили? (Би-Би-Си я предпочитаю другим радиостанциям – из-за позывных вкупе с названием.)

А это невозможное сочинение невозможного Лортцинга и по сей день худо-бедно посещается... не исключаю, что я несправедлив к бездарному Лортцингу, может, бездарность его носит принципиальный характер. Установочный. „Гениальных композиторов полно – хороших мало“. Раньше Лортцинг звучал в каждом доме – брэнчался, насвистывался, напевался. Был частью быта, такой же, как огромный дубовый шкаф в темной прихожей, куда еще дедушка прятался мальчиком. Сейчас видел по телевизору документальный фильм "Flieger empor", музыка в Третьем Рейхе. До чего же, наверное, пропиталась Лортцингом Германия, если в одном из последних геббельсовских шоу Шмидт-Вальтер как ни в чем не бывало поет арию царя Петра, потомки подданных которого в этот момент всю били (вернее, уже добивали) немецкую армию. В Большом зале Консерватории портрет Бетховена замазали – Людвига Ваню, а в Германии нищий бездомный скрипач, чей дом разбомблен, одна только

скрипка осталась, играет возле груды кирпичей (очень трогательные съемки) мелодию:

Sonst spielt' ich mit Szepter, mit Krone und Stern,
Das Volk meine Russen geglukt ich so gern.

Петр Первый поет это к тому, что в Москве путч, Софья возмутила стрельцов (1698 г.). Не верю, между прочим, в попытку военного переворота. Все эти юнкера рязанского разлива, оккупавшиеся якобы под Москвой и готовые по приказу безымянных генералов штурмовать седьмого ноября объект номер один, они же как тот самый кнут, который рекомендуется держать исключительно поднятым. Не дай Бог хлестнуть – страхам конец. Повинуются ведь страхам, а не тому, кто их внушает. Или – все сначала: военный коммунизм, подвалы ЧК – только НЭПа не получится больше. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понимать – а они не идиоты, для себя ох не идиоты! Будут пугать. Будут курсанты рязанского училища в полной боевой выкладке собирать грибы в подмосковном лесу. По сути дела, это единственная возможность для них сохранять свои посты – раз уж стало ясно, что второй НЭП не светит и об этом даже нечего мечтать.

Приятно думать, что решение экономических вопросов целой страны и отдельной маленькой семьи – это одно и то же. Сразу меняется статус стоящих перед тобой проблем – раз. Безнадёжная ситуация принимается спокойней – два. И тогда на примере страны видишь, что единственный реальный выход из сложившейся ситуации – стережет цербер. Плюешь и живешь так.

– Послушай, Заяц, – сказал я Фунтику, – ну, во-первых, привет. Надеюсь, я тебя не разбудил?

– Еще нет.

– Как дети?

– Наглеют.

– Как ты?

– Цвету и падаю. Почто приходил?

– Я получил письмо из Харькова...

– Просят отхаркивающего?

– Да нет. То есть да. Один родственник. Просит съездить – забрать какой-то пакет – в Циггорн.

– Циггорн? Впервые слышу.

– Неважно, на карте есть. Я позвонил по телефону, который дается в письме, и мне там сказали, чтобы я завтра же приехал и забрал. А у меня как раз завтра и послезавтра – два свободных дня.

– А что за посылка, что там хоть?

– Не знаю.

– Он не пишет, что он нам выслал?

– Это не нам вовсе.

– А кому?

– Ему же.

– Ага, выехайте – выедем. Ну, ездай, Заяц – мне-то что.

– Понимаешь, Заяц, заковыка в том, что Циггорн – это у черта на рогах. То есть не совсем, но двести пятьдесят километров от нас. И я подумал – смотри: у меня сто марок, я их так и не разменял...

– Ты что, на хлебе и воде сидишь?

– Почему? На пельмешках и на супчике. Посмотри, ста марок, если ехать поездом – не хватит. Надо в банк идти с утра. Целое дело, Заяц. Да и накладно. А так бы я взял машину.

– М-м... – Фунтик задумалась.

Я вынужден открыть маленькую тайну. Считается – а я никогда этого не оспаривал – что права у меня покупные, машину я в жизни не водил и не умею. Это, конечно же, глупости. Машину я вожу, как и всякий нормальный человек. Просто мне нравится мой имидж – такого рассеянного, такого неповоротливого: все забывает, путает, весь в своих идеях. Куда ему машину водить – хорошо еще, что ехали медведи на велосипеде. Удобно, когда и то не умеешь, и это не умеешь. На тебя машут рукой и оставляют в покое.

– Я буду волноваться, – сказала Фунтик.

– Ну-у, За-аяц...

– Позвони, когда вернешься.

– Хорошо, Зайчик. Поцелуй детей.

– А меня-а?

– И себя тоже. Привет.

– Чао-какао.

Я рано встал, попил „чао“ с остатками вчерашних пельменей. Вчера я пожадничал, наварил перед сном их больше, чем следовало (если вообще в этот час следовало есть „пельмешки“), так что утром поджарил остаток. Жарил на большом огне, в большом количестве масла. Получились маленькие, хрустящие, горячие пирожки к чаю. Поделив полсотенные между двумя задними карманами – коль уж терять, то не сразу обе – и быстро совершив другие, столь же необходимые приготовления, я уехал. Вернее, так. Едва я втиснулся в „мини-моррис“ цвета губной помады эдуард-хопперовских секретарш и дал задний ход креслом сантиметров на двадцать, как показались две гречанки. Вторая в парике; до сих пор это была неприлично плешивая женщина, с которой я неизменно здоровался в упор – она из тех, кто проплывает, не кивнув, хотя мы, так сказать, „дружим детьми“. Вечно я всем указываю: как надо правильно жить, как надо правильно вести хозяйство, как надо писать об уличных музыкантах и т.д. Кончилось тем, что я приучил ее тоже мямлить что-то при встрече со мной. Делала она это с каменным лицом, совершенно не поворачивая в мою сторону головы – головы францисканского монаха. Заносчивость уродины. Сегодня она впервые была в парике. И я с ней не поздоровался. Гречанки прошли, я подумал, что проявил такт, не узнав ее, начавшую новую жизнь. В итоге я вернулся домой, чтобы взять скрипку (в огороде бузина, а в Харькове дядька), лучше взять без надобности, чем впоследствии пожалеть, что не взял. Другими словами, вид гречанки в парике какими-то окольными путями навел меня на мысль, что скрипка может мне в пути понадобиться.

Утром вчера, еще не решив точно, выполнять ли волю дяди Рафы, не выполнять ли, а может, сделать это в рамках семейной экскурсии по разным живописным уголкам, – я первым делом выяснил, не относится ли Циггорн к таковым. В туристском агентстве Бангемана на Крёпке мне дали проспект однодневных автобусных экскурсий, где ровно пять предложений было уделено Циггорну: там самый низкий процент разводов, там раз в году проходит международная текстильная ярмарка, покровительницей города считается Амалфея – была коза такая. Слы-

шали про рог изобилия? Это ее рожки. „Циггорн“ в переводе на русский язык означает „Козий Рог“. На городском гербе сие животное изображено с крестом на плече, поддерживаемым левым передним копытцем. Козел Божий.

Двести пятьдесят километров по одной версии, триста – по другой (я ведь на глазок определял расстояние по карте) в действительности оказались двумястами тридцатью семью, которые – как толстый падре на низеньком ослике, когда вокруг все скакуны да скакуны – я проделал ровным семенящим шагом. В пути я коротал время размышлениями. Круг их невозможно ограничить ни темой, ни характером – да и вообще никаким циркулем не очертить: в диаметре уж всяко был бы несоизмерим с колесом „мини-морриса“. Представляю себе волны этих праздных мыслей, витающих над современными автострадами. Приемник соответствующей настройки – и чего только не наслушаешься. А если еще принимать телевизионные программы чужого мозга! И к этому придем. Что это будет, пип-шоу? Крими? Бытовая кутерьма, которую не запрещается смотреть и детям до шестнадцати, но интерес собачий этому препятствует: болотные лягавые, испанские борзые, хортые – вся свора его лордства, привстав на задние лапы и скребясь передними о стекло, созерцает картину чужой трапезы за окнами. Горничная или мать семейства, кто у них на раздаче – той и половник в руки. Этому дала и этому дала. А этому не дала – он еще маленький. По существу, что есть истина? Истина – это такая маленькая изюминка, которую хотят склевать птицы, что не улетают на зиму в теплые страны, а остаются в родном краю, обрекая себя на голод и стужу. Птицы, взалкавшие истины...

Я поймал Москву, „Маяк“ – а там *учатся демократии*. Понимается, что есть и двоечники, есть и хорошисты. Но все стараются, каждый по мере своих талантов. Советские газеты и радио сегодня вроде школьника, который все проверяет на уроке, насколько можно высоко залезть соседке под юбку и не схлопотать – на два пальца, на три? Если притом вдруг соседка забеременеет – так уж точно не от него, хоть бы он и похвалялся за портвешком в парадной, что к этому делу тоже *руку приложил*. Передавали интервью с Евтушенко, Вознесенским, Окуджавой

и Рождественским. Каждый по очереди рассказывал, как он к этому делу тоже руку приложил. Слушание советского радио (то же самое относится и к чтению их газет), все это – противостественные радости жизни. Причем извращение здесь не от дефицита, не выступает эрзацем чего-то, а наоборот, от переизбытка, от пресыщения. Типичный поставангард. Извращение эстетического чувства. Затем дали сводку последних известий – из лексикона которых, оказывается, еще *не изгнаны израильские оккупанты*, ох, боюсь, ждет их на радио скоро „интифада“. Концерт песенок заставил меня их убрать – не Дунаевский-Колмановский (этих извращенцы теперь обожают), а сопливая дискотека.

Не имея карты Циггорна, который не Нью-Йорк, – так что найду Корчакштрассе и без того, чтобы разориться на семь марок – я свернул на „Циггорн – центр“. Семь марок – это мне на гороховый суп и здоровую жареную сардельку, которую я не спеша съем за стойкой какого-нибудь уличного гриля, глядя на толпу – как то делает множество людей. Имею право. Жить в Германии уже столько лет и во всем себе отказывать! Я на пятьдесят марок заправился возле Бремена, где на бензоколонке в большом количестве продавались фигурки бременских музыкантов. (Вольный ганзейский город Бремен – вот где, наверное, уличные музыканты – священные коровы.) Таким образом, левый задний карман ампутирован. Но с полусотенной в правом заднем кармане, как с одной единственной почкой – можно жить и жить. Тридцать, правда, сразу долой: заправка на обратном пути (заправлюсь поближе к дому, где-нибудь в районе Берген-Бельзена). Марок семь, ну не семь – пять, это как договорились: побаловать себя гороховым супом и сосиской. И еще „эн-зе“ – пятнадцать марок. Продержусь до возвращения Фунтика и Ко). А за это божество погладит меня по лысине – повелев своей вестнице Ириде лететь скорее со светлого Олимпа на Зюльт, там явиться к Фунтику со словами:

– Заяц, трать деньги – все, что с собой взяла. Все истрать. На что хочешь истрать. Но про кредитную карточку „Америкэн Экспресс“ забудь, нету ее у тебя.

И та послушается.

Но Корчакштрассе, судя по названию, вряд ли находилась в центре. Ей место среди новостроек, где названия улицам даются по отраслевому принципу; так крестят миссионеры – целыми деревнями. Вот три улицы, Пифагора, Платона, Демокрита, перпендикулярные двум другим, Сократа и Аристотеля. Еще пять улиц носят имена исключительно корифеев мировой физики. Я заинтригован: в какой компании окажется Корчакштрассе – „Гешвистер Шолль“ или „Песталоцци“?

Полицейский объяснил, что ехать надо сначала по Гофманну-фон-Фаллерслебену. Затем на плацу Кайзера Вильгельма свернуть налево на Розу Люксембург. Дальше по Ратенау ехать до аллеи Гинденбурга, которая перейдет в Данцигскую. Проехать под железнодорожным мостом, и за ним сразу будет улица Анны Франк. Там же и Корчак.

Неспроста человек по имени Яцек живет на улице имени Корчака. Фамилия Яцека была Блажек. Не подтвердились опасения, вызванные телефонным разговором: например, что я приеду, а его уводят в наручниках; или предвкушение – как, приоткрыв дверь на „ширину длины цепочки“, женщина прежде недоверчиво оглядывает гостя и пространство за ним... Нет, сам Яцек впустил меня, имея вид при этом вполне беспечный – никак не человека, на которого охотятся. В чем я не ошибся, это представляя его *черненьким*. О, какая черная кость! С головы до ног в железках: цепочки, браслеты. На ремне – вдетом в узенькие джинсы – огромная металлическая пряжка в виде орла. Ходит, всем телом раскачиваясь; валявшуюся на полу банку из-под пильзенского „послал подальше“ – супер-востроносый ботинком (кажется, такие сапожки, на высоких скошенных вперед каблуках, у ребят в русской провинции называются „казаки“ – в чем выразилось ваше стихийное евразийство, мальчишки, ведь для кого угодно это никакие на „казаки“, а „ковбой“). Яцек смугл, волос долог, усики спускаются к подбородку подковой.

Плюх на диван.

– Ну что, побеседуем? Ты сам-то откуда?

Но если бы тем не менее мне пришлось сообщать его особые приметы, я бы обратил внимание полиции на то, что из одного

века у него росли по преимуществу седые ресницы. Страдал, что ли?

- Из Ганновера.
- Да не-е, в России.
- Из Ленинграда.

Это в большей или меньшей или совсем в крошечной степени, но внушало почтение. Яцек, который был из какого-нибудь Немчинского района, волей-неволей смотрел на меня – так и продолжавшего стоять – *снизу вверх*. А он еще возлежал на своем диване почти вровень с полом, так что глаза пришлось закатить под самые облака. Я безропотно выдержал и эту рожу, и этот взгляд. Словно желая обратного, он звонко положил ноги, скрестив голени, на низкий стеклянный столик, разделявший нас. Я еще забыл упомянуть о шпорах, ими он, если так будет часто принимать гостей, столик этот развездячит в два счета. По тому, как черная кость любит обставляться, не думаю, чтобы это было ему безразлично.

– Дай-ка пива, – я передал ему банку с пивом, до которой Яцеку ничего не стоило дотянуться самому. – О-о-о... – в блаженстве издал он после первого глотка, – идиот дразнился. – А тебя тоже зовут Рафа?

Я с улыбкой отвел это страшное подозрение. При этом у меня улыбка добрая, чистая. Улыбаться – уж это я умею. К тому же совершенно искренне. Исповедуемая мною философия такова: свинья не виновата, что она свинья. Люди ни в чем не виноваты. Свобода воли, которую честный человек Блаженный Августин не признавал за человечеством, придумана последним, чтобы скрасить смерть, в смысле жизнь. Ничего не могу поделать, но я марксист-материалист. Как это ни печально, не только не сомневаюсь в историческом детерминизме, но и знаю, что не минует predeterminedness ничего и никого, до самой последней твари земной. Оттого я так снисходителен к любому проявлению человеческого свинства и легко улыбаюсь каждой свинье. „Рафа“ для него это, видите ли, как „Абрам“, он смотрит на меня и не может... То есть именно, что *не может*.

– Слушай, Рафа... – он игнорирует мой отказ быть причисленным к лику *раф*. – Вот сейчас получишь свои погремушки

и все, не трожь больше братана. Ферштейст?

– Кого?

У него язык ворочался туго, глаз из-под припорошенных снежком ресниц смотрел тупо, вползрочка.

– Брата. (Все-таки хватило разумения пояснить, что – „брат родной... в один час, в один день мамаша рожала... а теперь машиной краденой стращают...“) Но-о все-о, развязаны ручонки. Ловко ж Беркович обеспечил сохранность своим капиталам.

– Что, по всем правилам близнец?

– Близнец... у нас говорили: близнец подкрался незаметно... Ты, Рафа...

– А он тоже Яцек?

Тут из кухни поползли запахи – до этого слышалось только бряцание. Что у нас на обед сегодня? Похоже, я даже не увижу хозяйки. Переступив порог, я мысленно прикинул, какой ей быть: толстой, тонкой, в юбке, в брюках, голубоглазой арийкой, чернявой цыганкой, существом забитым, испуганным или наоборот – крашеной стервой. Так и не узнаю. Неме́нчинский район... В моем *лендетстве* (все тогда вокруг начиналось с *лен*: *ленодежда*, *ленконцерт*) *такие* на коммунальной кухне жарили обычно колбасу. А впрочем, не помню, чем они питались. Помню только, очень хотелось попробовать их стряпню – кажется, они что-то еще пекли.

– Ты, Рафа, свое получил, а теперь послушай, что я тебе...

А если б действительно пригласили отобедать, остался бы? Пренебрег бы гороховым супом с сосиской? (Зато бы сэкономил семь марок. То есть пять.)

– Извините, но я вынужден вас прервать. Мне совершенно не нравится тон, которым вы со мной разговариваете, ваша манера. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что с вашим знакомым Рафой Берковичем меня связывают какие-то гешефты. Виделись мы в последний раз лет двадцать тому назад, до этого еще пару раз – он дальний родственник моей матери. Вдруг я получил письмо, где он просит поехать к вам, за какими-то вещами, чтобы эти вещи лежали у меня. А он или кто-то другой их потом заберет. Но поскольку, в отличие от вас, я Рафе Берковичу ничем не обязан, обещаний ему тоже не давал

и лично мне от этих вещей проку никакого нет, одна морока – то я не желаю впридачу еще терпеть ваше идиотское хамство. Все что угодно могу снести, даже антисемитизм, который торчит из вас как пружина. Только не хамство – чтоб вы знали. Моё почтение, Негг Блаженный.

– Эй, ты чего, не хочешь брать? – кинулся Блажек за мной.

– Нет. Я, видите ли, делаю кому-то любезность, и еще должен при этом... Нет, – повторил я твердо.

– Да не обижайся ты... сдуру я, подумаешь... Ну врежь! А то сядем, сейчас обед будет... Крыська! Крыська!

Появилась здоровая Крыся во фланелевом халатике, распахивающемся на коленках – на коленных мисочках, открывая клинышек комбинации.

– Оставайтесь. Не слушайте вы его, дурака-то моего. (А сама, значит, слушала. И все, значит, слышала.) У него язык без костей, не знает, что и болтает. Сам же брата чуть не посадил, а на других кивает. Давайте, сейчас нажарю картошек с лучком, с колбаской. Давайте, оставайтесь, закусим.

Как бы не имея ничего против нее – да еще притом, что Яцек стал как шелковый – я позволил уговорить себя вернуться.

– Вот, – сказал Яцек, внося средних размеров плоскую картонку, перевязанную веревочкой. – Давай, складывай в эту самую-то свою. – Под „этой самой“ подразумевался скрипичный футляр (я не рисковал оставлять инструмент в машине, да и никто из музыкантов этого не делает – один в Тель-Авиве попробовал, о чем потом горько сожалел). Яцек, твердо убежденный, что футляр в моих руках – лишь хитроумная маскировка, менее всего рассчитывал услышать, что там лежит настоящая скрипка.

– Нет... ой, покажи... дай посмотреть!

Вообще в таких случаях скрипка – это табу, вам подтвердит это любой скрипач. Ну, а в частности? Есть во мне что-то от паршивой овцы, так и норовящей отбиться от своего стада. Ибо не пристало мне, жрецу, показывать ему, профану, священный кимвал, а я – взял и показал. Открыл футляр и откинул углы шелкового платка, в который скрипка была запеленута.

– Чур без пальцев, – предупредил я желание потеревить струну или потрогать волос на смычке – так маленькие дети,

склоняясь над совсем грудным, даже безо всякого дурного умысла лезут тому первым делом в глаза.

– А сыграть ты на ней можешь?

В глазах у Крыси читалась та же просьба, которую она просто не смела произнести вслух. А может, сказать „б“ – раз уж „а“ сказал? Конечно, профанация священного ремесла была бы налицо, но... И тут я невольно себя спровоцировал, подумав, что неуверенность обладателя тайного знания в своих силах – вот, подчас, истинная причина, почему это знание хранится за семью замками.

Вызов, брошенный самому себе, я принимаю – здесь Яцек со своей зазною не причем. У меня в репертуаре было восемь-девять салонных пьесок („Чардаш“ Монти, „Венгерский танец“ Брамса, „Ave Maria“ и т.п.), разученных еще „по следам наших выступлений“ – как с полным правом могли бы сказать выступавшие на том филармоническом собрании... бесновавшиеся на том филармоническом собрании. Сколько лет прошло, а все не забыть: сотня „взрослых“ – поколение отцов и дедов – состязаются, кто больше наговорит мне мерзостей. Тогда же, с оглядкой на их посулы, дескать „с голоду подохну“, „в уличные музыканты – и в те не примут“, я разучил с десятков популярных скрипичных мелочей, предполагая играть их если и не как папа Карло, за медные деньги, то, во всяком случае, где-нибудь в кафе, в каких-нибудь сборных концертниках. Не довелось.

Я настроился, оглушив их квинтой флажолетов – и сыграл „Чардаш“ Монти. Мои слушатели сидели, выкатив глаза, раскрыв рты, являя собою зрелище, может быть, не менее для меня занимательное, чем я для них.

– А еще... – когда я кончил.

– „Хорошего помаленьку“, сказала бабушка, вылезая из-под трамвая, – с этими словами я сложил скрипку. Для коробки мне дали пластиковый мешок с надписью „Квелле“.

– А обедать как же? Пообедать-то собрались, – стали они осаждать меня, видя, что я ухожу,

– Нет, нет, не могу, опаздываю уже.

– Ну ладно, – вздохнул Яцек, – будешь здесь еще, заходи,

понял? – Крыся тоже сердечно жала мне руку: – Заходите обязательно, когда будете.

– Да нет, – отвечал я, сияя доброжелательством, – в жизни у вас не появлюсь. Я же сказал, что совершенно не переношу хамства. Хамство – это отвратительная черта.

Неужели кто-нибудь мог всерьез подумать, что я стану обедать с Яцеком? Что не побрезгую сидеть с ним за одним столом, когда спектакль закончен? На сцене – сколько угодно, но в жизни никогда. Дело даже не в хамстве, как раз Яцек быть хамом не может, потому что *не может им не быть* (поясняю: не может людоед с Сандвичевых островов считаться таковым в сравнении с людоедом из Дорсета). У меня своя дефиниция хамства, хама, не вполне укладывающаяся в рамки привычного представления, но, быть может, только на первый взгляд. Судите сами. Классический случай – от одного воспоминания о котором пухнет моя печень. Самый популярный в эмиграции журнал печатает письмо одного крестившегося еврея (уже несчастного человека, потому что никто от хорошей жизни еще не крестился, ставши же выкрестом – и подавно веселья в жизни не видал). Тот – сын знаменитого советского разведчика – Азбеля?.. Азбеля?.. – заклинает человечество в лице такой богоугодной организации, как ООН, спасти его и его семью от депортации в теократический Израиль, откуда с превеликим трудом им удалось вырваться в Германию. Казалось бы все ясно: *неудачник плачет*. Притом он пишет, что у девочки, у его дочери, произошло кровоизлияние в мозг. Журнал это письмо публикует, а для баланса, рядом, и ответ выкресту. Некто *сильный израилев* призывает на голову отступника все кары небесные и при этом торжествует, дескать они уже не заставили себя ждать: кровоизлияние у дочери – а это еще цветочки.

Хам чудовищно наивен, не понимает, что промысл Божий – это промысл Божий, а никак не его. Хамство отвечает на вопрос „а чево?“ – если только вообще отвечает на какие-то вопросы, поскольку с хама, как с Господа Бога, ничего не спросится.

В общем, это было ужасно: ветхозаветный рык „сильного израилева“. Я захожусь с пол-оборота, „впечатляюсь“ (как с *уличными музыкантами*). Потом долго чужой хамский текст меня

преследует. От бессильной ярости печень поднимается как на дрожжах. Правда, против этого у меня есть средство: надо вспомнить о банковском минусе, который тоже растёт как на дрожжах – представить себе, что недалек тот день, когда банк откажется его покрывать. В груди начинает колотиться сердце, стучит в висках, отдаёт в затылок (печень давно опала).

На меня, как почти на всякого, кто уже вывел потомство, действуют истории про детей. В воображении происходит естественная подмена – чужих своими. И в суеверной панике отплеываешься. Кем же надо быть – простите риторическую банальность – чтобы потирать руки при мысли, что у какого-то ребёнка случился инсульт? Ну, уж точно, своих детей нет... Опять же необязательно. На достопамятном собрании в Филармонии в меня кидали камни не просто старшие товарищи, но и в их числе – в силу особенности нашего ремесла передаваться по наследству – родители многих моих друзей. Причем некоторые брали камни и швыряли для виду, но большинство метилось. Елизавета Петровна Караваева, с сыном которой, Сашей Меллером, я дружил с первого класса музыкальной школы, сколько себя помню, бывал у них дома, он – у нас, а потом вместе мы учились в Москве – Елизавета Петровна – тетя Лиза, встала и, пронзив меня клыками глаз, сказала: „Я бы его с камнем на шею в омут“. Саша, с большими мягкими щеками, такой „пуся“, был чудным виолончелистом. Кажется, уже после моего отъезда он сел помощником концертмейстера – в тот же ленинградский симфонический, где работала его мать.

Очень точно пулял концертмейстер оркестра, или „первая скрипка“, как говорят меломаны.

Марк Захарович Окунь: „Вот спрашивают, чего ему здесь не хватало. (Действительно, в каждом выступлении перечень благ, коих я сподобился в жизни, завершался негодующим восклицанием: „Чего ему еще не хватало!“) А я скажу, чего. Он ведь, когда учился в консерватории, два года за моей племянницей бегал – я много могу о нем рассказать. Он же гений, вы не знали? Великий писатель земли русской. А о чем он пишет, послушайте. Наташа рассказывала, у него роман есть про гомосексуалистов Атлантиды – представляете, это он

девушке своей читает. И говорит, что получит за него Нобелевскую премию. Теперь понимаете, чего ему не хватает”.

Это собрание проходило в преддверии большого заграничного *турнепса*. Свое хлорофилловое зернышко хотелось каждому. Только такой, как Волик Яковлев, мог подойти ко мне и при всех сказать: „Я в этом фашистском сборище участвовать не намерен,“ – повернуться и уйти.

А чем я себя лучше вел, спрашивается? Закрыв руками голову и не шевелился – сознательно изображал пададь, чтобы незримо присутствующий хищник не тронул? На днях, в ожидании, когда вспыхнет зеленый велосипедик на светофоре, я был обречен наблюдать, без малейшей возможности вмешаться, следующую сценку на противоположной стороне улицы. Ровесники моего сына: А демонстрирует на Б „приемы карате“ – попросту пинает его ногами, В и Г зрители, Б даже не пытается сопротивляться, он сжался, закрыв руками голову, и только, когда А кончил, убежал с плачем. Потом всю дорогу я мысленно мстил А за Б (успевал подъехать, брал у Б номер телефона и обещал, если только его родители пожелают, засвидетельствовать, что он был бит ногами – и тогда родителям А это влетит в копеечку. В и Г стоят и мотают себе на ус.)

– Предположим, даже ничего не произошло – ссадина, просто разревелся, сидя в луже. Потом никаких денег не хватит откупиться. Начнется кафкианский процесс, это сколько же тысяч такой процесс потребует?

Надеюсь, что у А душа ушла в пятки.

Тáк что можно себе представить, как уж корректировал я свое поведение на том собрании задним числом. Какие в мыслях позволял себе дерзости. „Это что, заговор обреченных?“ – патетически воскликнул один идиот, подразумевая „отъезжантов“ в Израиль. „Что вы этим хотите сказать, Георгий Максимович, какой смысл вы вкладываете в слово *обреченный*?“ – парировал я немедленно. Слово „Израиль“ каждый раз звучит так, словно кто-то без трусов появляется. Особенно всех волновало, что пойду я в израильскую армию, начнется война – ах, выходит, я буду в наших солдат стрелять? „А на чьей территории будет вестись эта война, Марья Лазаревна?“ Марья Лазаревна не

понимает: „Как на чьей?“ – „Ну, советская армия будет воевать с израильской под Москвой или под Тель-Авивом?“ Когда же Щастый сказал: „Ничего, туда еще ступит сапог русского солдата“, – я не без ехидства заметил главному дирижеру – который на сей раз дирижировал хором: „Эдуард Васильевич, объясните, пожалуйста, Петру Петровичу, что подобными высказываниями он ставит под сомнение миролюбивую политику советского государства. И это в свете предстоящей поездки коллектива в Японию“.

Ничего подобного не было. И Щастый кирзовым сапогом топал по Синаю, и Островская, Марья Лазаревна, маленький альтовый жучок с последнего пульта альтов, гоголевскую коллизию „Остап – Андрий“ представляла с моим участием – я же, как тот мальчик, тот самый Б на противоположной стороне улицы, заслонившись обеими руками, ждал, пока они кончат (так что еще вопрос, отождествлял я этого мальчика с собственным сыном или все же с самим собой, а с сыном – лишь постольку, поскольку родители думают, что продолжают в своих детях). Униженная покорность – пассивность – с какой я сносил все, была даже чрезмерной – что мне не преминули поставить на вид:

– Мы, понимаешь, горячимся, переживаем, а с него как с гуся вода. Посмотрите, посмотрите на него. Он же смеется над нами.

Я понял: клиент требует от меня потрепыхаться, а не лежать бревном. Тут же я изобразил им небольшой *нервный срыв* – вскочил, красный, стал кричать что-то насчет гуманных советских законов, которые они в данный момент попирают – тем, что оскорбляют меня.

– Успокойтесь, – сказала Зоя Федоровна, вполне удовлетворенная моей реакцией – Имейте мужество выслушать своих товарищей.

Знаете анекдот: один еврей – торговая точка, два... еще там что-то, а три – русский симфонический оркестр. До начала семидесятых, может быть, даже до конца семидесятых это было так. Точнее – но уже безо всяких преувеличений – еврейской была струнная группа. Скрипачей – буквально девяносто девять про-

центов Виолончелистов – поменьше, процентов восемьдесят, как и альтистов. (Это естественно, потому что альтисты – плохо выучившиеся скрипачи.) Контрабасистов – фифти-фифти (контрабас – тоже не инструмент для вундеркиндов). Обратная картина среди духовых, *духовенства*. Случайный Миша Шапира, который может там затесаться, будет таким же добрым молодцем, что и остальные – за плечами те же университеты: детский дом, музыкантская команда; по адресу струнников те же *смехучки*: сидят и друг за дружку прячутся, это мы – что играем, то и слышно. Антагонизм между струнными и духовыми в цивилизованных местах не меньший, просто он обуздан, он в рамках приличий, не в пример ленинградской филармонии, где с приличиями скверно. А тут вдобавок разделение проходит не только по культурно-социальному признаку, как во всем мире, но и по национальному.

Но слушателю-зрителю, когда звучащее тело оркестра расположено перед ним во всем своем концертном блеске, лучше не знать о змеюшнике за кулисами. Иначе все тускнеет: роскошный парад меди, кордебалет смычков – полная их синхронность (притом, что даже фалды фраков одинаково ниспадают по обе стороны белых с малиновыми подушечками филармонических стульев). Когда время движется к полуночи, когда за окнами зияет чернота и уже лучится хрусталь люстр, чуть-чуть утяжеляя веки, в наэлектризованном ритмами пространстве белораморного зала, наконец, грянул решающий удар тарелок; они так и застыли, высоко вздетые над седой головой музыканта. На миг все замерло – перед тем, как разразиться ливню аплодисментов.

Конечно, были завсегдатаи, хорошо информированные о закулисной кухне, чем по-любительски гордились. Только напрасно: повторяю, они сами себя обкрадывали... Видимо, обкрадывали. Мне-то недоступен восторг рукоплещущего зала. О том, что там они на самом деле испытывают, я могу лишь гадать (что, собственно, сейчас и делал). Сам я и слышу иначе и – главное – слушаю иное.

Национальная рознь уже не была сопряжена с военными действиями, когда я поступил в оркестр. К тому времени было

заклучено и соблюдалось перемирие. Не писались письма: ты в горком, а я в обком, ты в ЦК, а я в ЧК. Еврейское засилье компенсировалось русскими суточными щами в буфете. Суточные же (в кронах или в йенах) хотели получать все народы одинаково, да и жизнь-то прожили вместе, все под одной крышей, пусть даже яростно ненавидя друг друга. Хоть и с кислыми физиономиями, враги помирились. Не здоровавшиеся годами стали снова здороваться, замыкал конь, заржал кот. И тут, когда, казалось бы, чуть-чуть выглянуло солнышко, я письменно *прошу предоставить мне характеристику в ОВИР в связи с отъездом на постоянное жительство в государство Израиль.*

Щастый (сапог русского солдата) был одержим животным антисемитизмом, а я ему *Израиль*, открытым текстом, вместо того, чтобы пресмыкаться на уровне подошвы этого самого сапога – условие, на котором мое существование было бы не только терпимым, но и желательным. Однако дай ему в руки автомат, он начал бы не с меня. Это „первая скрипка“, Окунь Марк Захарович, отважно добивался права пресмыкаться сантиметров на десять повыше. И добился. Дошел до министра культуры. Щастый начал бы с Марка Захаровича. Зато Марк Захарович ненавидел меня теперь больше, чем Щастого. На каком основании такие, как я, разрушали его жизнь! Жизнь налаженная: в кармане ключи от кооперативной квартиры и – зажигания. А завтра, глядишь, и от дачи в Володарке. Росли дети (и племянницы), их ждали радости Коктебеля, импортного тряпья, *полуразговорца* (почему же нет?). А какие справлялись именины – это уже феерия жизни – за раздвинутым столом (а то и сдвинутыми столами), с „оливье“, печеночным паштетом, фаршмаком и сайрой! Ничего с неба не падало, все оплачено талантом и трудом. И умирать будут по знакомству где-нибудь в военно-медицинской академии. А из-за моего Израиля все может прахом пойти, и их жизнь и – их детей.

В свое оправдание – что покорно дал себя шельмовать на этом судилище, вместо того, чтобы искушать весь „синедрион“ – могу сказать: я сознавал свою ответственность, уезжала целая семья. Вспыхнуть и наговорить всякой всячины было бы дешевым гусарством. Главная – и единственная покамест задача: восполь-

зовавшись моментом, вырваться из этой страны. Остальное: унижения, грязь, стыд, то, что от пяток до самых бедер ноги уже завинтились винтом – все это сбрасывалось на границе. Змеиная кожа.

Меня усадили против собравшихся на чем-то вроде скамьи подсудимых. Я сидел, рассматривал знакомые лица... „Ба, знакомые все лица!“ – только в необычном ракурсе: всех вместе я их привык видеть по-иному расположенными. Квнтет веером, как изображают цветовой спектр – от скрипок к контрабасам. За ними первую цепь: дерево. Вторую цепь: медь. И – симметрично разведенных по флангам: арфы и небольшую бригаду ударников. Если уподобить вышесказанное сложной прическе, то сегодня волосы вдруг помыли и расчесали – оркестранты сидели за рядом ряд. На всех физиономиях было написано любопытство. Как это будет? Как его (меня) сейчас по членам разберут? (Это из „Хованщины“: „А немца Гадена у Спаса на Бору имали, а и волокли до места и тут по членам разобрали“.)

Очень уж мне не хотелось парковаться в гараже... к тому же неучтенный расход. А я его приплюсую к обещанной за кротость и хорошее поведение сосиске с супом. Может гороховый суп в Циггорне на марку дорожѐ стоить? А может сосиска тоже на марку дорожке стоить? Неужели из-за этого я нарушил бы данное себе обещание – нет же? Вот две марки и выкроены. Так что въезжать в гараж хоть и не хотелось, но по причине не столь ординарной. Я побаивался взбираться по серпантину – могло статься, что даже на пятый этаж. Я представлял себе пролет справа... Нежданно-негаданно в ста метрах от вокзала мне подвернулся „дикий“ паркинг с некоторым еще свободным пространством – не иначе как привет от козы Амалфеи, гения здѐшних мест.

Прогулочным шагом я отправился в центр города Циггорна – малосимпатичный прохожий со скрипкой, что-то, судя по полиэтиленовому мешочку, купивший в „Квелле“, интересно, что? (Только так и подобало храниться чужому нечестно нажитому добру.) Четверть второго, зона пешеходов, магазинов. Ага!.. „Сосисочный базар“. А в Циггорне очень все аппетитно выглядит.

Я тем не менее не прельщусь первой попавшейся вывеской. Посмотрю, как у конкурента: например, здесь закусывают, привалившись к столам в форме огромных пузатых пивных бочек – не высокогато ли будет для меня? Я не пьющий – не указывает ли вышеупомянутая форма столов, что здесь, так сказать, смещены акценты? Они „грилят“ сосиски, которым в отечественной кулинарии аналогии нет. Длинные, белые – я их знаю, это так называемые „русские шпекачки“. Супы у них – гороховый и сербский бобовый. Сербский бобовый ест молодой немец – прыщеватый малец сложения, прямо противоположного моему. С виду петушник, считающий каждую копейку, он, наверное, супом и ограничится. Его лоб наморщен, потому что он ест одно, а смотрит на другое – на движущуюся толпу, в которой, наскоро поев и вытерев рот салфеткой, сам немедленно растворится. Нет, я, если остановлю свой выбор на „Сосисочном базаре“, то все равно возьму „гороховый горшочек“. Подумаешь, какой-то сопляк ест сербский бобовый, зато гороховый суп с гренками был любимым кушаньем Геракла. Об этом я читал в книжке „Как жили древние греки“. Не знаю, так ли уж была эта книжка на самом деле замечательна, но я ею зачитывался. Когда мы переезжали с Пестеля на Разъезжую (пятый класс), она пропала, и больше я ее никогда не видел.

С „Сосисочным базаром“ конкурировала палатка под названием „С горчишкой“. Я поглядел, что делалось на ее жаровнях, поглядел, как люди с прогибающейся пластмассовой посудой искали глазами свободное местечко. „Что, – думал я, – сейчас может помешать мне стать одним из них?“ Я так долго готовлюсь к этому более чем скромному пиршеству, что расстроить его просто требовали правила жанра. „Но тут его хватил апоплексический удар“, пишет Чехов о человеке, основательно накладывавшем одно за другим разные яства на блин и, наконец, поднесшем его ко рту.

Я вспомнил – в Ганновере, когда садился в машину – что подумал при виде лысой греческой мамыши, преображенной париком. И в греческих, и в других мифах всегда *шапка*-невидимка, а, скажем, не *шит*-невидимка. И вот почему: первоначально это шапка волос, парик. Считается, что именно парик

тебя меняет до неузнаваемости. И так же – чужой город, приезжаешь – как в парике: никто тебя не знает. Можно позволить себе гораздо больше... Чего – другой вопрос. Впрочем, я всегда думал, что появлению вопроса предшествует знание ответа. Марксист-материалист, когда речь заходит о свободе воли, во всем остальном я неисправимый метафизик: нет в природе ни *неразрешимых проблем*, ни *вопроса, на который нельзя ответить*, ни *несбыточного желания*. И это вселяет оптимизм.

А теперь „сильно“ приземлимся. Уже несколько дней меня изводит одна фантазия. Среди уличных музыкантов я увидел себя. На миг вообразил. Но и этого достаточно, чтобы не знать, как избавиться от навязчивого образа. Пуще того – от неприличного желания его воплотить. А по мне так, напомним, несбыточных желаний не бывает, человек обречен на исполнение своих желаний. Если в Ганновере довольно просто было отбояриться: дескать, с ума еще не сошел – то в Циггорне, где меня никто не знает, этот фокус я проделать мог – а значит, должен был, и, выходит, никуда мне от этого не деться! Конечно, блажь – моча в голову ударила на пустой желудок, и вот с перепоя шальная мысль... Ясно, что делать этого я никогда не стану. Но только есть у меня золотое правило – безотносительно к данному случаю. Когда, собираясь куда-то, говоришь: это мне точно не понадобится – бери. Слишком часто потом сожалеешь, думаешь: ну что стоило взять? „Гречанка в парике, я в Циггорне – тоже как в парике – хоть на улице играй на скрипке“. И, как бы невероятно это ни показалось, я, следуя своему „золотому правилу“, возвращаюсь домой за скрипкой – помните, я тогда вернулся?

Да и впрямь, что стоит: вытащить ее из футляра.

(Там нищий скрипач, прислонившись к витрине,

Тихо пиликал концерт Паганини...

„День поэзии“, год пятьдесят шестой – „оттепель“ была еще, подобно первой любви, чиста. В вышеприведенном стихе описывают свои заграничные впечатления члены советской делегации. Директорше филармонии, вероятно, эти строчки смутно припомнились в связи со мной). Надо только остановиться, достать скрипку, у ног – открытый футляр (музыкантам милостыню кидают не в шапку – в футляр). Сколько можно собрать за час

игры в людном месте? Допустим, каждые три минуты в футляр что-то падает, четыре-пять „грóшей“ минимум. Да чего зря считать – возьми проверь. Что, стыдно? Нет, не стыдно (валашской девушке в первый раз – той было, наверное, стыдно). Тогда что? Марок после этого уже точно прибавится“.

Но ни подначка, ни „подкуп“ – ничего не действовало. За „русские шпекачки“ придется расплачиваться деньгами, заработанными исключительно с благословения профсоюза.

– Горшочек горохового и сосиску... Да, с капустой. И кусочек черного хлеба, пожалуйста.

И все упало. Нет, не суп с сосиской вывернул – все упало *во мне*. Уже зажат футляр между коленями, а пакет Берковича и вовсе где-то брошенный валяется – и панически, с чарличаплинским проворством, пальцы в который раз исследуют содержимое карманов.

– Погодите, погодите... кажется, у меня...

Я отошел на шаг, чтобы не мешать торговле. Я так обескуражен исчезновением пятидесяти марок, что мне даже не стыдно – мне, готовому при малейшем конфузе сквозь землю провалиться. Между тем иностранец вызывает у стоящих в очереди ироническое сострадание: наверное, поляк, хм-хм, своих жалких копеечек не досчитался... со скрипкой – уличный музыкант, поди. Раздатчик же повел себя, как полисмен, который уговаривает зевак: „Проходите, проходите, не задерживайтесь, ничего не случилось“ (в его устах это звучало: „Следующий! Следующий, пожалуйста!“).

Когда стало ясно, что пропажа окончательна и обжалованию не подлежит, я принялся думать, сев на ближайшую скамью, которую делил с разной публикой – долго никто не засиживался: ни приземистый турка – полумесяцем ноги, ни семья с покупками. У меня хватило бы красок всех их расписать и ярче, и остроумней, но, право, настроение не то. Проблема заключалась в бензине, которого до Ганновера не хватит. Как поступить? Кредитная же карточка в сумочке, сумочка у Фунтика, Фунтик на Зюльтике. И ни одного знакомого во всем Циггорне, если не считать Яцека, чью дружбу и даже, чем черт не шутит, любовь я отверг в весьма жестокой форме. Да, вот еще с чем, помимо

польской „Солидарности“, связывается у меня это имя: „Яцек и его президент“ – фильм по книжке „Еще один, которому нужна любовь“ какой-то польской писательницы. К маленькому Яцеку, обделенному родительским вниманием, тайно является президент с лицом отца. Они гуляют, беседуют *на серьезные темы*. И однажды приходят в такое место, где много мальчиков вроде него – каждый со своим президентом (этакий сад любви – отцовской).

Я смотрел этот фильм, наверное, тогда же, когда и читал „Как жили древние греки“. То была пора цветения восточно-европейского оранжерейного кино. В крошечных парниках польские, венгерские, чешские „мастера культуры“ выращивали разные диковинки, которые при нормальной температуре погибли бы. Да, собственно, и погибли – но тогда еще их надежно оберегала шкура старшего брата – чего создатели их не понимали, кляня эту самую шкуру. Имеешь – не ценишь, не ценили восточно-европейские либералы свой тогдашний статус: *соблазнитель в законе*. Узаконены же они были в силу своей практической безобидности: ну, поднесет Кинг-Конг к морде ладонь, чтобы вблизи рассмотреть крошечную красавицу, которая едва ли не в обмороке от ужаса и отвращения... Когда поверженное исполинское чудовище издаст последний вздох, та же красавица будет единственная, кто среди торжествующих криков оплачет его.

Пойти на поклон к Яцеку и его президенту? Нет, уже поздно. Не надо было хамить. Прочитал целую лекцию о хамстве – а сам... Типичный *ты*. Наказание не замедлило последовать. А ты думал, за что отштрафован на пятьдесят марок? Раздобыть нужно сущую глупость. Двадцати пяти марок тоже хватило бы. Для таких случаев человечество изобрело ломбард. „Он заложил серебряные часы своего отца“. Но когда я не ношу часов (Вы знаете, что скрипку и жену никогда никому не доверяют – это из устава лабухов, и это совершенно серьезно, хотя бы и звучало пошлой шуткой. Нельзя позволять на своей скрипке играть другим. К ней не смеет тянуть свои грязные руки таможенник – если он не Анри Руссо. Она не может быть описана за долги или заложена. Словом – о скрипке забудьте.) Клас-

сический заклад также серебряные ложечки. Ломбард тем и отличается от комиссионки, что чужие, лишь переданные тебе на хранение, вещи можно туда снести без того, чтобы запятнать себя воровством. Данное соображение касалось коробочки имени Берковича, ее компактность в сочетании с некоторой увесистостью позволяла предположить, что там – столовое серебро. Свою гипотезу я не мог проверить прилюдно, прямо здесь, на скамейке. Надо было найти укромный уголок... до которого часа открыт ломбард? В незнакомом городе таким укромным уголком – где твоя личная неприкосновенность гарантирована – может быть лишь кабинка общественного туалета. Но и туда вход – тридцать пфеннигов, которых у меня нет. Маленький, красненький, без ног, а бегаёт, не домик, а ключиком отпирается, в Англии родился, а по-русски говорит – что это? Кто угадает, получит тридцать пфеннигов... да еще в нем можно, укрывшись от посторонних взоров, перебирать серебряные вилочки и ложечки, опрометчиво доверенные тебе Берковичем. Правильный ответ: „мини-моррис“. В десяти минутах ходьбы отсюда он ждет своего владельца, точнее законного супруга своей законной владелицы (вассал моего вассала не мой вассал). Если только ждет еще, поскольку нет у меня твердой уверенности, что пятьюдесятью марками исчерпана кара за самодовольное хамство (в принципе это тавтология: самодовольного хамства не бывает)... ну, в отношении этих самых – четы подопытных яцеков. Словно они *подопытны тебе*. Но, может быть, этот урок преподан вам, сударь, за ханжество? Боженька, видите ли. „Я не выношу хамства, теряюсь“ – а сам хамло. „Воля запрограммирована – Блаженный Августин – люди ни в чем не виноваты – снисходительность“ – а сам мстительный, как Калибан. Ведь злопамятный... что хочешь говори, а злопамятный. Наташе Окунь до сих пор не можешь простить измены.

Я надеялся таким самобичеванием предупредить худшее. Но, увидев, что „маленький красненький“ на месте, успокоился – забился в него и... забился: коробка Берковича оказалась полна сестерциев. Будучи абсолютным профаном в нумизматике (а в чем нет – за исключением разве что игры на скрипке да еще, полагаю, писания прозы), я на что хотите скажу „сестер-

ций“. Монеты были разные: и с квадратными дырками, и, кажется, бронзовые, с изображением столь же выпуклым, сколь и нечетким; была бесспорная Греция, какая-нибудь тетрадрахма пятого века – глазастый греческий профиль времен Перикла я всегда узнаю... Ах ты, золотце мое терракотового цвета – золото, да-да! Я разобрал: „Глориоро манорум“, а на обороте еще что-то и „Констант“ (*реверс, аверс* – я в тонкостях не силен). Монетами были до отказа набиты четыре полукилограммовые банки из-под черной икры.

Я долго их не разглядывал, потому что испугался. Поскорее все сложил как было и только усмехнулся слову „ломбард“. Ну что, где взять деньги? Двадцать пять бумажных марок. От жажды умираю над ручьем. Я снова направился со скрипкой и с пластиковым мешочком в центр Циггорна. Все еще было страшновато? Нет, теперь, пожалуй, чуть-чуть смешно – с легкой искоркой истерической. Делать мне действительно ничего другого не оставалось, как – вот смотрите, что я делаю: остановился... нет, еще ничего не случилось, остановиться может любой, даже положить футляр на тротуар. Мало ли, развязался шнурок, и человек присел на корточки, чтобы его завязать – но только вместо того, чтобы завязать, щелкнул собачками на футляре, вынул скрипку. Все, *переступил*.

Вначале он не видит никого – внезапно сошедший с ума скрипач, захотевший позаниматься и позабывший на минуточку, что он не в своей комнате, что он на виду у толпы. Как ни в чем не бывало берешь скрипку в руки, настраиваешься, канифолишь смычок, начинаешь помаленьку разыгрываться. Никто не укажет безумцу на его ошибку, никто не подойдет и тихонечко не шепнет, что, мол, вы не у себя, не в своих четырех стенах, у вас небо над головой, а те, кто проходят, они – *не* за окном. Этот резкий переход, *нырок* – наверное, самое сложное. Шел человек, такой, как все, пока вдруг не сел и не начал просить подаяние. Ясно, что если он и чей-то знакомый, то бывший – поболтать с ним уже никто не остановится, вам его уже никто не представит: герр такой-то – герр такой-то – очень приятно – взаимно – как, попа-то сидеть не мерзнет? Повторяю, вначале никого не видишь. Потом уже открываешь глаза с новым ощущением – как под

водой. И видишь мир, как из подводного царства.

Явилась такая справедливая мысль: отсутствие денег на дне футляра (опалово-переливчатом, бархатном) проходим щедрости не прибавляет, и наоборот, монетка всегда притянет монетку. Наощупь, как фотограф в черном рукаве, я отыскал в банке из-под икры две монетки подходящего размера: одна будет изображать марку, кто там разглядит двуликого Януса, другая, оказавшаяся золотой, сойдет за медь – за грошик или даже два пфеннига.

Звучит „Юмореска“ Дворжака – думаю, что неплохо звучит. Сейчас я еще разыграюсь, „пообвыкну“, и можете быть уверены: уличной игры на скрипке такого уровня в Циггорне еще не слышали. Скрипач-то я весьма недурной, а то, что сижу в оперной яме, пусть в заблуждение не вводит: на это есть свои причины, о которых я когда-то уже писал, поэтому повторяться не буду. Во всяком случае, мне знаком – и еще памятен – вкус успеха, ощущение *естественного превосходства над теми, кто так не может, как я*. Конечно, я уже не тот – но и еще не совсем другой. Упала монета, кто-то остановился послушать. Я еще избегаю встречаться глазами с моими слушателями, но после первых аплодисментов это проходит. Исполнительское вдохновение рождается из слушательского признания, на биоэнергетическую природу которого не влияет состав аудитории – почему Гай Юлий Цезарь и изрек свое знаменитое: лучше быть первым в Циггорне, нежели вторым в Риме. По натуре я не триумфатор, не полководец, мне чужды радости *исполнителей*, но в то же время понятны.

«Венгерский танец» Брамса № 1. У немцев благоговейное отношение к музыкальному звучанию, это общеизвестно. Примерно, как у Пятницы к ружью Робинзона Крузо. И над этим благоговением посмеяться проще пареной репы, но тут есть одно обстоятельство, как то: это ружье они сами же и сконструировали, а Робинзону Крузо дали пострелять. Так что осторожно с немцами (по крайней мере, это относится к русским: больно уж подозрительно легко над немцами смеяться).

Какие-то люди смотрят на меня, и мне стыдно отвечать взглядом на их взгляд. Они останавливаются послушать музыку, апло-

дируют, кидают деньги, идут дальше. Некоторые остаются послушать дольше. Тех, кто мало-мальски в этом деле кумекает – таких достаточно – наблюдать исподволь одно удовольствие: они привыкли, чтоб так играли по радио, на концерте – „скрипка ведь очень трудный инструмент“. А что если... сколько с своей юности они перевидали фильмов, где бродячего музыканта слышит импресарио в цилиндре и крылатке, импресарио многозначительно переглядывается со своей спутницей и – вот уже мы становимся свидетелями рождения новой звезды. А какой-нибудь местный музыкантик проходил бы мимо – посмотрел бы я на его физиономию. (Я знаю, какие взгляды бросают на меня мои коллеги, стоит мне провести смычком по струнам где-нибудь в артистической – чего я, обычно, избегаю.)

Кажется, скрипичное тщеславие во мне пробудилось. *Шуберт, «Аве Мария»*. Руки совсем разогреты. Допускаю, что сейчас я впрямь играю довольно здорово. Это – хейфецовское переложение „Аве Марии“, второе проведение двойными нотами, на октаву выше. Пьеса трудная, но когда-то она была моим коронным номером. Я не хвастаюсь, это правда: не только в болоте, именуемом ганноверской оперой, но и в оркестре в Ленинграде, где скрипачи – не чета тутошним, я был в свои девятнадцать среди самых-самых. Тому же Окуню на собрании пришлось оговориться, как бы оправдывая собственную идейно-политическую промашку: „Ну кто же мог знать, когда мы его принимали? Сыграл он – это надо признать – хорошо“.

Среди „Песен без слов“ Мендельсона есть одна под названием *«На крыльях песни»*. Написанная, как „Аве Мария“, в одночастной форме (только в темпе баркаролы), она и переложена для скрипки по тому же принципу: первое проведение на баске, повторение – двойными нотами наверху. Автор обработки – Ахрон, у которого Дунаевский в детстве, в Одессе, учился на скрипке (см. учебник музлитературы). Моя память удерживает массу ненужных сведений такого рода. Никогда, ни на одном экзамене, от меня бы это не потребовалось. С другой стороны, благодаря подобному вздору мне удавалось втирать очки моим экзаменаторам, особенно „общественникам“. Отвечая какой-нибудь довоенный съезд, едва я начинал – что вот на нем с

отчетным докладом выступил Мануильский, как в ответ немедленно слышал: „Пожалуйста, зачетку“. Поздней я догадался то же самое попробовать и с читателем. Кому придет в голову, что человек, способный вскользь упомянуть о письме Ал.К. Толстого к Анджело де Губернатису, лишь совсем недавно из детской передачи узнал, что „Средь шумного бала“ написал вовсе не Пушкин.

Играя „На крыльях песни“ Мендельсона в переложении Ахрона, у которого брал в детстве уроки скрипки Дунаевский (сразу три нордических персонажа), я томным взглядом провожал своих благодетелей. Моя наличность росла куда быстрее, чем моя слава (импресарио так и не появился). Когда в футляр – в мою бархатную Данаю – еще только закапали первые капли золотого дождя, я, прикинувшись, что достаю канифоль, предусмотрительно убрал две „подсадные“ монетки. Теперь бы я их не выгрел. Количество поданных мне марок давно перевалило за двадцать пять, это было видно и невооруженным глазом, но я продолжал играть. Как в рулетку – не мог остановиться. Даже при самом беспощадном самоанализе мне трудно сказать – из жадности или оттого, что понравилось.

Играя «*Чардаш*» Монти (сегодня уже во второй раз), я заметил-таки среди глазевших на меня одного – явно скрипача. Интересно, а могут представители других ремесел так же безошибочно определять *своего*? Есть ли и у них опознавательный знак, аналогичный нашему? У нас это припухлость коричневого или багрового оттенка под скулой слева, там, где прощупывается миндалина. В моем классе училась девочка, по имени Вика, смазливая, как все офицерские дочки, русская рижанка – на улице она драпировала шею пионерским галстуком, чтобы люди не думали, что она чья-то Лолита (разумеется – в других выражениях, поскольку тогда это имя вызывало немедленную ассоциацию лишь с Лолитой Торес). Скрипач придурковато уставился на меня – жаль, что я не умею читать мысли. По-немецки уж точно не умею. В другой физиономии – рядышком было что-то для глаз приятно-притягательное. Но только в первый момент. Это как машинально найти и с удовольствием почесать зачесавшееся место, прежде чем сообразишь, что снова, дурак, расче-

сал зажившую было болячку. Древние говорили о радости узнавания, и я безотчетно испытал ее, пока вдруг не понял: физиономия, приковавшая к себе мой взгляд, принадлежит Саше Меллеру. Затем подошел еще один, я узнал его, но фамилию позабыл (между прочим, глядя на них, сознаешь, как и сам изменился за эти двадцать годиков, с другой стороны, ничего страшного: лица те же). Их собиралось все больше. Ужель та самая Татьяна – Ленинградский симфонический оркестр...

„Ничего себе, – подумал я, – это все за Яцека. Чтобы так влетело за какую-то дурацкую фразу... д-д-д-д-д... Ладно, ладно, только не дрожи. Не с каждого зато такой спрос“. („Ничего себе“ – в моих устах означает изумление, вдруг распускающееся, как на гребне пытки, белым цветком: „О!? И такое возможно? И ты еще жив? Ничего себе...“ Если хотите, это шубертовский мажор.)

Афишные столбы неизменно входят в круг моего чтения, в чужом городе и подавно – а тут не прочитал. Так бы знал, что помимо цирка „Альтгоф“, квартета „Миссисипи“ (четыре улыбчивых добропорядочных негра), какой-нибудь выставки графики – восьмого ноября 1990 года в Циггорне дирижер Эдуард Середа, солистка Нонна Комаринская и Ленинградский симфонический оркестр исполняют Глинку, Чайковского, Шостаковича. Зная об этом, стал бы я, „прислонившись к витрине, тихо пиликать концерт Паганини“? Скорей бы умер! Теперь умереть уже было поздно и ничего другого не оставалось, как жить дальше. Обычно они ходили кучей, раньше во исполнение приказа: по *капитализму* передвигаться не иначе как четверками (четыре улыбчивых добропорядочных негра), нынче же просто – куда один, туда и все, в поисках дешевого шмотья. Я даже не знаю, по-прежнему ли их стережет тройка губистов во главе с генералом... двадцать лет назад это был генерал Ростовцев – псевдоним, наверное. Раз мне, *невыездному*, показали его (за границу меня не выпускали, знали – сбегу). Он появился на концерте перед очередной поездкой – неприметный, маленький, с женой и дочкой. Это не была шикарная публика, какое!.. Я разочарованно смотрел на генерала, генеральшу, генеральскую дочку. Дело не в том, что

советский генерал в моем понимании – непременно боров в мундире, а его жена – свинья в брильянтах. В конце концов, „губа“ была особым местом, работника, специализирующегося на заграничных гастролях, там могли кормить и диетическими продуктами. Меня озадачил пустячок – как сейчас помню: галстук с фальшивым узелком и большой лирой из блесток (указывало на специализацию?), такие самоделки продавались исключительно из-под полы в галерее Апраксина Двора.

Короче говоря, все они теперь сгрудились вокруг меня и молчат, я играю. (Немцев даже не видно – ткнется иной прохожий в чужие спины: „Что дают?“ Постоит да и уйдет, не дождавшись ответа.) Так не может дальше продолжаться – хотя бы уже потому, что я не могу играть. Я смотрел на них, опустив скрипку и усмехаясь – как попавшийся наконец знаменитый разбойник. Но и *так* не могло продолжаться долго. (Чернавин, Лисс, этого не знаю. а Меллер-то постарел. Этой забыл фамилию... смотрика, Штейн, еще не на пенсии. Этих двух не знаю. Мартынов – дружок Щастого.)

Исчезнуть, уснуть, отмотать пленку... Господи! Сколько народу мечтало отмотать, чтобы переписать – и еще никому не удалось. Тогда, не сходя с места – умереть – но *оно* работает, тебя не спрашивает. Убил бы кто, я был бы ему очень признателен.

Если нельзя улететь, сменить кадр, самоликвидироваться, то что же можно? Сложить скрипку и удалиться, испив до дна чашу позора – а потом всю оставшуюся жизнь ощущать во рту его привкус? Что они сами почувствовали? Злорадство? Или все же они испытали неловкость? Вот и ответ: Чернавин достает из своего советского кошелька монету и молча кидает в мой футляр. Неужто разорился на две марки – а выглядело именно так. Я нагнулся, посмотрел, что он положил. Это был юбилейный рубль с памятником Чайковскому работы Мухиной – что перед Московской консерваторией.

– Благодарю боярыню за ласку. Это было лишним.

– Ну, молодой человек, в вашем-то положении...

С Чернавиным, как и с Меллером, мы еще учились вместе, он был свой парень, мелкий остроумец с уклоном в обществен-

ную деятельность. Разумеется, мы были с ним на ты.

– Боярыня-барыня, а сколько же это мне пожаловано-то? Курс сегодня один к двадцати. Я думаю, что в банке мне это поменяют на юань.

– Сидит в говне и чирикает, – сказано было это обладателем белобрысой мальчишеской челки, на носу у юнца сидели очки в черной прямоугольной оправе, какие вышли из моды, когда он еще не родился, а я еще не уехал.

– Фи, как грубо... Кстати, вы все сильно ошибаетесь, решив, что вот – перед вами нищий. Не знаю, наверное кого-то из вас я сейчас огорчу: я за день могу собрать себе на подержанный автомобиль – правда, сильно подержанный, но автомобиль, не самокат. И вообще мне ничего не стоит пригласить вас всех, весь оркестр, в любой ресторан. Думаю, нищему это было бы не по карману. В вас говорит советский предрассудок – а здесь, на Западе, не гнушаются никакой работой. Я ведь... – к счастью, в кармане оказалось пластиковое служебное удостоверение с фотографией, которое я несколько судорожно достал и предъявил. С большим любопытством они вытянули шею. – Это вместо ключа. Открывает служебный подъезд в моем театре. Вставляешь в такую щель – и привет. Электроника. Так что не думайте: безработный, нищий. Было б недурно, если бы в Союзе все музыканты были такие нищие. Тем не менее, когда мне надо по делу в другой город – как сегодня, например, – я всегда прихватываю инструмент. Вдруг выдадутся свободные полчасика. Тогда непременно становлюсь на улице поиграть. Это не Россия, здесь в этом нет ничего постыдного.

– А какой марки у тебя машина?

– „Ягуар Мегapolis“. Но как раз вчера я поставил ее в гараж, что-то верх плохо откидываться стал. Пришлось поэтому взять „Мини-Моррис“ жены.

Так что, гуляем? А чего – мы не против, чтобы вы нас пригласили, – сказала мне незнакомая, лет тридцати, особа – из породы *дранных кошек*, что практически скрыть невозможно, как бы в дальнейшем все удачно у таких ни складывалось.

– Извольте. Я совершенно серьезно. Если, конечно, начальство вам не запретит.

И Чернавин, мешая насмешливый тон с шутливым и давая последнему возобладать, говорит:

– Э, молодой человек, давненько вы у нас не были. Начальство наше теперь горой за совместные предприятия. Снимай зал – гостем буду. Коли не шутишь.

– Не шучу. (Тяжело пожатье каменной десницы.) Нет, не шучу. На этом месте, сегодня вечером – после вашего концерта. В одиннадцать. Я жду весь оркестр.

Приближается год Моцарта. Пушкин, Моцарт, Дон-Жуан, Иберия – мои любимые стихи. Что же я, буду сейчас подсчитывать убытки от лиссабонского землетрясения?

– Простите, не знаю, как вас зовут...

– Костя, – мой белобрысый очкарик пошел пятнами. Было у меня страшное искушение сказать: „А вы, Костя, можете не беспокоиться. Я все что угодно могу стерпеть, кроме хамства. Приглашение относится ко всем, кроме вас“. Но, вспомнив Яцека, сказал вместо этого:

– Конечно, Костя, вы тоже приглашены. Только впредь не советую говорить гадости незнакомым людям – чтобы подыграть кому-то. Знаете, есть такой тип: он голос из толпы подает и довольный оглядывается – каков, дескать, я? А я бы ему сказал, каков: труслив, бездарен и тщеславен.

Или этого тоже нельзя было говорить? Нет-нет! Это можно было и нужно было сказать. И гляжу, отповедь моя пришлась ко двору. Поганец – всегда поганец. Даже для своих. Потом сотня в черных фраках – это еще необязательно черная сотня. Тем более, когда сволочь пошла в жидком состоянии – кремешков старой выучки уж не осталось.

– Щастый? Он на пенсии, – говорит мне Меллер.

Саша Меллер подошел ко мне, когда *все было кончено*. Ажиотаж вокруг меня спал быстро. Хватило моего безумного обещания задать пир на весь мир, чтобы с этой костью в зубах они убежали дальше.

– Послушай, привет, – он мнется. Он всегда был мягкий, мнущийся, с тихой виолончельной придурью. „Пусей“ я звал его не потому, что он внешне *пуся*: с надувными румяными щеками, а между ними бантик – маленький, аленький. Его

сущность была *пусявой*. Сейчас он поседел. Седой – и неизменившийся. Знал ли он, что мне говорила его матушка?

– Привет, пуся Меллер. Не опаздываешь?

Кроме него уже никого не осталось. Скрипку я сложил, мелочь сгрел в карман. И снова перед вами обыватель – вполне толст, вполне супруг Фунтика, что отдыхает на Зюльтике с зайчатами. Нет, он не опаздывал, в четыре только акустическая репетиция. (Хм... акустическая... Ну, это как аукнется, так и откликнется – я ничего так не презираю, как бездарную страсть тысячу раз репетировать одно и то же.)

– Ну, как ты живешь?

– Сам видел, собираюсь.

– Да-да, собираешься...

Лиса Патрикеевна, работающая под дурачка – таким он должен был казаться. Но я-то знал, что лисье там и не ночевало. Была лишь инстинктивная потребность деланно маскироваться – чтобы подумали: этот зверь опасный, зубастый. Хотя у самого так еще материнское молоко на губах и не обсохло.

– Лучше скажи, как ты? Что мама?

– Мама в порядке.

– По-прежнему в оркестре?

– Нет, ну что ты, она уже на пенсии. Но у нее есть ученики.

Разговор и клеится и нет. Благодаря вопросам, которые я могу ему задавать до бесконечности, клеится, т.е. тягостных пауз не возникает – но неловкость, давленность его, пуси, ответов налицо.

– Вы живете у себя на Кирпичной?

– Не-е, давно пройденный этап. Мы с женой построили кооператив, у нас трехкомнатная квартира в Купчино.

– Жена... и зайчата?

– Дети? А как же – Захарка и Степанидушка.

– Благолепно. Слушай, как же мама твоя твою женитьбу перенесла, а?

– А чего, нормально.

– И с женой ладит?

Тут пуся надул, умильно глядя при этом на меня, свои резиновые щеки и стиснул их с обеих сторон кулаками. Изо рта вы-

летел звук. Я вспомнил этот способ пуси Мёллера уходить от трудных вопросов. „Мёллер, сформулируй нам...“ И Мёллер „формулирует“. Класс лежит, учительница пасует – но Мёллер смотрит на нее умильно, кротко, не давая затаить злобу.

...Или на Кирпичной осталась Елизавета Петровна одна? Старая, обобранная – попросту обобранная невесткой, уроки дает. Как Караваева носилась с сыном! В ярости, что я наврежу ему своим отъездом, она и взаправду готова была кинуть меня в бездну вод с кирпичом на шее. Умом я даже мог это понять (сердцем – нет). По отцу, сгинувшему в Чевенгурском Котловане, Саша происходил из немцев. Елизавета Петровна была битая, как сидорова коза, хоть и виду не подавала. За отсутствием супруга она сама себе ходила в членах – таких одиноких активных членов женского пола мы знаем. Кирпичная, парадное с проржавевшим козырьком, пол перед ступеньками выложен черно-белой вермееровской плиткой. Как неповторим запах каждого человеческого тела (спросите у пса), так же и на каждой лестнице своя собственная вонь, неважно, что повсюду она складывается из тех же, примерно, ингредиентов. Еще эта лестница увешана портретами: где только белеет штукатурка под облепившейся краской, там морда. Узнавались: комик Филиппов, автоматчик в каске и плащпалатке, крейсёр „Аврора“. Дверь на третьем этаже обросла звонками, как опятами. Ткнешь в нужный – прибежит тринадцатилетний Саша Мёллер в материнских шлепанцах, или дверь отворит Елизавета Петровна – в тех же шлепанцах на босу ногу... Да Господи, кто из нас не набит такого рода воспоминаниями. *Пустое.*

– Мама? Она ведь странный немного человек. Ты ведь знаешь, что ей пришлось пережить – мы только сейчас об этом начинаем узнавать, а она всегда знала...

Его „мы“ здесь бесподобно. Святая пустота, а вовсе не та „святая простота“, которая подбрасывает в костёр Яну Гусу свою охачочку, а потом удивляется с невинным видом: да мы же ничего не знали. Нет, я свидетельствую: уж кто-кто, а пуся Мёллер всегда все знал, и анекдоты всегда травил – а то, что он сейчас по второму кругу все начинает „узнавать“, это не иначе, как его семейные дела.

Пуся пронизательный:

– Ну ладно, ладно – ты такой гениальный, ты всегда все знал. А мы нет.

Пуся прав, я гениальный, а он всего лишь пронизательный. Маменькины сынки берут в жены подобия своих маменек. Жена пуси должна быть второй Елизаветой Петровной Караваевой. А коль так, ее членская активность только сейчас начинает спадать, отсюда и „мы только сейчас об этом начинаем узнавать“.

– Да, Саш, Елизавета Петровна была *человеком своего времени*. Даже, можно сказать, *героем своего времени*. Даже, можно сказать, *дважды героем своего времени*. Ей многое простительно из того, что непостительно другим.

Чтобы читать мои мысли, пуси-меллеровой пронизательности недостаточно. В моих словах ему чудится готовность простить Елизавете Петровне ее оч-чень некрасивое поведение на собрании, *в свое время*.

– У меня с мамой небезоблачно у самого. Ты уже догадался. Я знаю, что она говорила тогда...

– А, брось. Все что-то говорили. Кстати, как Волик Яковлев поживает?

„Мычанье в раздумье“ – такую соорил мину пуся Меллер.

– Волик... мм... Яковлев?

– Ну, Господи, Яковлев... Волик...

– Да-да, я знаю, о ком ты. Он еще до меня умер. (Пуся хотел сказать – „до моего поступления“.) Цирроз печени. Совершенно спился.

Умер. Нет, не *все* что-то говорили. Волик, Волик... „Я в этом фашистском сборище участвовать не намерен“. Наружно я лишь вздохнул. „А пощадишь этот город ради одного живущего в нем праведника?“ „Нет, один в поле не воин“, – ответил Бог Аврааму.

– Ну, а расскажи о себе. Кто твоя жена?

– Светка? (Светка, Танька, Ленка – раньше, в царствование Елизаветы Петровны, он не был дворовым мальчиком. Скажи еще о своей жене: Светка – хорошая баба.) Ну, Светка – она очень умная баба. Это можешь быть уверен. Вот, купил ей „Лэви Страусс“, – Саша потряс полиэтиленовой авоськой. Как и

на моей, на ней стояло „Квелле“. Чего доброго не хватало обменяться. Какая-то французская кинокомедия: бедняк открывает свой чемоданчик, а там миллион. Жулик открывает, уже потирая руки, а там джинсы.

– Какой размер?

– „Какой-какой“, все тебе надо знать, – „и хохочет, и хохочет, будто кто его щечочет“.

– Не хочешь, не говори – я просто так.

– Знаешь же, что у нас женщины полней, чем у вас.

„У вас...“ Я все-таки вряд ли пусе Меллеру сказал бы: у вас в Ленинграде – хотя еще на первой странице признался: „мы“ применительно к Союзу давно не употребляю. Для меня „мы“ это Фунтик да двое детей – мало? Знали б там, на Зюльте, чтоб оттягивает сейчас мне правую руку. Впрочем, и сам я не вполне осознал это, я гоню от себя эту мысль, держу на *порядочном* расстоянии. Чужое... дали понести.

– А знаешь ты, кем Светка работает? – вдруг выпаливает Меллер, которому, очевидно, неприятно было, что его жена произвела на меня впечатление только лишь размерами своих джинсов. – Она референт Союза журналистов.

Я был прав по части пусино „фрейдизма“.

– Ни фиги себе.

Оркестр разместился в двух отелях: „Корделия“ и „Тироль“, пуся жил, разумеется, в первом.

– С кем?

Его положили в двухспальную постель с одним скрипачом из Малооперного – приглашенным в поездку „на замену“. Тот пуся, которого я когда-то знал, сказал бы просто: „С одним стукачочком“. Когда из других оркестров вербовались в заграничные поездки – вербовались уж во всех смыслах, тут исключений почти не бывало.

– Это случайно не такой – в очках, с челкой, ну совсем мальчик-с-пальчик? – мне хотелось, чтобы это был именно он, Костя, которому я всыпал по первое число – дряни этакой.

– А, Костик Яковлев? Нет, он не приглашенный, он у нас уже два года как играет. Совершенно гениальный парень, кларнетист. Ты зря его так при всех, он как раз симпатичный.

– Все симпатичные. А Щастый какой симпатичный – что, играет еще?

– Щастый? Он на пенсии.

Трудно сказать, чему отель „Корделия“ был обязан своим названием – если не считать того, что в нем предстояло однажды остановиться Саше Меллеру. (Надобно только в угоду хоть какому-то смыслу его матушку окрестить *Лирой*.)

Стеклянная дверь „Корделии“ была настежь – наглухо распахнута под прямым углом. За нею в *полусвете*, несмотря на яркое солнце снаружи, виднелась дама да кое-как зеленело освещенное электричеством комнатное растение, еще глубже заглядывать неохота.

– А поесть охота? Немецкого горохового супа с сарделькой? Мне тут как раз накидали полный карман мелочи... а то давай тоже поиграй, тоже накидают.

– Ты что, с ума сошел! – пуся мой взвизгнул, как будто я ему прищемил что-то. – Скажешь... – ей-Богу, ему надо было отдышаться – так подействовала на него эта жуткая, должно быть, в мозгу совершенно отчетливо представившаяся сцена. – Это здесь у вас такие порядки.

И здесь, конечно, порядки не такие, я малость ввел в заблуждение их – а советских гавриков вводить в заблуждение проще простого: полистают „Плэйбой“ и думают: такова спортивная жизнь. Хотя, казалось бы, „неверие своим глазам“, „неверие своим ушам“ – их привычное состояние. Конечно, спору нет, свободному человеку легче дается „перформенс“, „хеппенинг“. Для выездного советского оркестранта, набитого чванством так, что аж по швам трещит, только представить себя в роли уличного музыканта – уже, наверное, какая-то особая, какая-нибудь китайская пытка.

– Пуся Меллер, что ты в самом деле – шуток не понимаешь? Моральный облик советского музыканта – это святое, это я знаю...

– Да ничего ты не знаешь, – огрызнулся Меллер – впервые наконец прорвался человеческий тон. – Думаешь, у нас все так и осталось, как было, когда ты уехал?

– Пуся, да что с тобой? Не узнаю я больше сам себя, не узнаю Григория Грязного...

– Перестань! Это ты, каким был двадцать лет назад, таким и остался. Все „пуськаешь“... Хорошо вам здесь живется.

Он прав: я бестактен. У него седая голова, у него за плечами годы – двадцать лет, мною так и не прожитые. Кб́смос – эмиграция. На Земле проходит жизнь, они стареют, а ты – каким был в минуту запуска, такой и сейчас. Александр Федорович Меллер он – не смей его больше звать „пусей“. Это ты, если отбросить маскарадное "Негг Такойтович" (привычно исковерканная фамилия), остался навсегда при своем мальчишеском имени. Они трудились – созидавая по крохам: там полочку, тут палочку; надрываясь, тащили травинку, кряхтели, волоча былинку. Руки этих мирмидонян огрубели, их кожа задубела, покрылись морщинами их лица, их тела стали бесформенными, дряблыми – от непосильной ежедневной ноши.

– Хорошо, извини – ты больше не пуся. Ты – Саша. Хочешь, Саша, съедим по тарелочке горохового супа... Немецкого, настоящего, с сосиской хрустящей. С горчишкой. Это тут недалеко.

Саша стойко пожал плечами. Мы пошли с ним, но не в „Сосисочный базар“, где „хорошо, но меня обсчитали поляки“, а в палатку под названием „С горчишкой“.

– Волик, значит, умер, так-так...

Наша скромная трапеза протекала в разговорах то об одном, то о другом общем знакомом: что с кем стало в жизни. Больше, глядя на Меллера, я уже не мог вспомнить его таким, каким он мне помнился до нашей встречи – лет на двадцать моложе; вероятно, в этом эффект встреч после длительной разлуки. Зато лицо Волика Яковлева, с учетом вышесказанного эффекта, ничто не могло затмить, задним числом переиначить в памяти – зрелище эксгумации разве только.

А Марья Лазаревна Островская, которую еще смущало, что я буду „сражаться против наших солдат“ – оказывается, она сама очень скоро наострила лыжи. Когда в прошлом году были гастроли в Америке, ее встретили: живет себе в Канзас-Сити, такая же, как была, совсем не изменилась... Ну, Щастый на пенсии, это я уже слышал...

– А Мартынов-то еще работает...

– Последний сезон у Мартыши, хороший мужик.

Я промолчал.

Мурка Цхварадзе – так звалась особа, фигурировавшая у меня под кодовым названием „Драная кошка“ и, собственно говоря, поймавшая меня на слове, которое иначе как в бреде не могло сорваться с моих уст: всех, мол, готов накормить ужином, весь оркестр, пятью хлебами. (Но вспомните ужас моего положения в первую минуту... и Чернавин – подающий мне милостыню.) Мурка Цхварадзе из Новосибирска, „дала Окуню, он ее и взял... Да, вместо него концертмейстером теперь Мишка Карасик“.

– Карась? Концертмейстером?

– Ты не думай, он играть стал здорово.

– Я и не думаю, на здоровье. (Про него ходил стишок:

Маленькая рыбка –
Жареный карась.
Где ваша улыбка,
Что была вчерась?)

– А Окунь что, тоже на пенсии? Вроде бы рано еще.

– Эй, да ты совсем оторвался, парень, от масс. (Это Меллер так теперь разговаривает.) Ты действительно ничего не знаешь? Ему же в аварии руку оторвало. Он ехал к себе на дачу в Володарку... не спеша, покуривает, рука с сигаретой в окне – и какой-то идиот навстречу, грузовик обгонял на ста двадцати, рука так на чужом ветровом стекле и уехала.

– О-о!

Я ведь *впечатляюсь*. Перед мысленным взором проходит эта сцена, и – зная себя, смело могу сказать: ей еще на бис повторяться и повторяться. Если это была расплата, то я от всего сердца готов был простить Марку Захаровичу все, что *за меня* причитается. И за других почти уверен: простили бы. Но когда не нам отмщение, не мы воздаем... Я уж собрания не касаюсь, но кто просил его на гастролях в Сочи, например, в июле, когда солнце печет, репетиция закончилась, и мы на эстраде выслушиваем сообщение местной администраторши – подойти ко мне со словами: „Сними шапку, ты не в синагоге“.

А ведь я прикрыл панамой свою преждевременную лысину не раньше, чем это сделал в нескольких метрах от меня кто-то из „духовенства“ – тот же Щастый, возможно. Я много месяцев потом не мог успокоиться. Нет чтоб отбрить сходу: „Но и не в церкви, Марк Захарович“ (так осаживал я его про себя в продолжение вышеупомянутых месяцев). Теперь что ж, левая рука осталась на чужом ветровом стекле...

– Да, – говорит Меллер, – судьба. Стал никем в одну секунду. Мы ему еще деньги собирали. Ну, его родственницу тогда Эдик (подразумевался Середа) в оркестр принял. Чувиха никак не тянула – ты же ее знаешь, Натку Окунь.

– И что, она сейчас тоже здесь с вами?

Меня разозлило, ну прямо до бешенства, что он будто специально медлит с ответом. В действительности же его лицо просто запрыгало – веки, нос, губы, подбородок – в преддверии могучего, желанного, в какой-то момент ни туда ни сюда, но потом все же разорвавшего его физиономию карабас-барабасовского „апчи!“ Рука, до того судорожно трепыхавшаяся, окончательно выпустила сосиску, густо обмазанную крепчайшей горчицей, и поспешно устремилась за носовым платком.

– Извини, крепкая... Всегда у вас горчица как майонез, а тут... Так о чем мы? – Я бы ему не напомнил, если бы он не вспомнил сам. – А где же ей быть? Конечно, с нами. Неужто ты ее не видел? Она рядом со мной стояла.

– Рядом с тобой стоял Чернавин.

– Ну и она.

Я снова проводил пусю... пardon, Сашу Меллера до дверей „Корделии“, ненавязчиво расспросив о судьбе Наташи Окунь.

– Ей здорово повезло, что она у нас. Виолончелистка – сам знаешь, какая. А в остальном... вот внучка у нее недавно родилась.

Ах, как скоро жизнь минула!

Однако ж и обрушилось информации на меня в чудовищно короткий срок; переварить ее было куда сложней, чем за то же время съеденную порцию супа. Будь это на ночь глядя, я предвкушал бы кинематографические кошмары во сне: Наташа Окунь

в окружении циггорнских реалий, несущая руку своего дяди... И по-прежнему ей восемнадцать. Не узнав ее сейчас, я продлил жизнь этой „старой“, восемнадцати-девятнадцатилетней Наташе. Такой она доживает свои последние часы – в моей памяти.

Я был влюблен в нее безумно. С лучистым мягким взглядом, ласковым голосом, темными кудрями – она была „моим типом“. В идеальном смысле, не сексуальном. Сексуальная жизнь текла по своим каналам. Я был и, надо, полагать, остаюсь, по-восточному, манихейцем. Моей любви не препятствовало, что на пляже у Петропавловской (куда мы пару раз ходили в июне) Наташа выглядела всего лишь *пока еще сносно* – в сплошном розовом купальнике, для соцэкспорта уж очень нейлоновом и „неоновом“. Последнее тоже помогало драпировать изъяны телосложения – уже *социальными* средствами, в отличие, скажем, от манеры хитрым образом поджимать под себя ноги и т.п. Порода див-манекенщиц, только-только выведенная на Западе (когда Запад и сам-то по-мопассановски причмокивал пухленькой Мэрилин Монро), в низкорослой, азиатской России еще была неизвестна. Ценились, как всегда, *миниатюрность, хрупкость, женственность, талия, ножки* – недостаток одного из этих качеств компенсировался избытком другого, по крайней мере „женственность“ была чем-то вроде джокера – покрывала любой дефицит. Почему общество сухопарой хищной крали с двухметровым шпагатом, боюсь, не льстило бы даже самолюбию моему – эросу же здесь точно было делать нечего. Не говоря о „Любви поэта“.

В сиянье теплых майских дней
Цветов венок душистый
И розы и лилии
Встречаю взор очей твоих
В цветах белоснежных лилий
Над Рейна светлым простором
Я не сержусь (лишь только больно ноет грудь)
О, если б цветы угадали
Напевом скрипка чарует
Чуть только я песню слышу
Ее он страстно любит (а ей полюбился другой)

Я утром в саду встречаю
Во сне я горько плакал (мне снилось, что ты умерла)
Мне снится ночами образ твой
Забывтой старой сказки...
Вы злые, злые песни

– вот в каких водах купался я, вот чему были созвучны мое упоение, мои восторги. Чтобы влюбленно раскачиваться на волнах шумановских гармоний, мне хватало одного Наташиного лица. Это чувство мне не могла бы внушить нееврейка...

Да, вот так – без обиняков, сходу. Думайте обо мне, что хотите, но истина требует признания: я мог жениться на нееврейке – славянке, японке, негритянке, прижить с ней детей, которым был бы достойным отцом, исповедовать идеи христианского братства и всеобщего равенства перед Богом, проклинать фашистов всех мастей, но (шепотом) влюбиться в нееврейку... тогда, восемнадцати лет отроду... Это было исключено. (Я не хочу все валить на „фрейда“ – еще один Саша Меллер – и столь звездному чувству давать медицинское объяснение. Чувствуешь же после этого себя какой-то монадой.)

Другое дело Эрос. С ним ясность полная. На память приходит диалог двух подростков, каждое слово в котором я жадно ловлю. Относительно игравшей тут же во дворе некрасивой девочки были высказаны сладострастные пожелания. Стараясь не отстать от старших, я, может быть девятилетний, замечаю: „Ну нет уж, такая уродина...“ На что один из говоривших, снизойдя до моей юности, отвечает: „Дурак, в этом-то и самый смак – чтобы уродина...“ Я часто это вспоминал – в подтверждение разных своих последующих теорий. Суть их: *черное – белое, плоть – дух, оргазм – катарсис, смерть – жизнь*; либо задастый грудастый вульгарный блуд – либо вечная женственность с лицом Наташи. Поэтому долговязая краля в сиянье холодного журнального глянца, а не теплых майских дней – всего лишь декоративное ни то ни се; в лучшем случае – продукт сексуального чванства. (Подробно я это разбираю в книге „Фашизм и наоборот“ – неизд.)

Наташа училась в училище, когда я с ней познакомился –

сам будучи уже студентом Московской консерватории. В одно из моих появлений в Ленинграде в этом новом ослепительном качестве я, как обычно, первым делом побежал в училище покрасоваться. (Сумасшедшие полеты в Ленинград, на день, на два, лишь позднее приняли характер любовных метаний по ночному небу, а в первый месяц я приносился в Ленинград исключительно ради глотка триумфа, после чего вновь можно было на какое-то время погружаться в темный быт московской общаги, снова влачить в стенах Московской консерватории – этой даже не всесоюзной, а вселенской обители музыкальной благодати – свое бесславное и бесправное существование – какого-то там илота, какой-то иногородней букашки, которую тамошняя золотая молодежь к себе на пушечный выстрел не подпустит (я только о себе, других подпускали). Кстати, я вижу этому аналогию нынче, когда повсеместно слышишь, что такой-то три месяца как эмигрировал, а уже второй раз гоняет в Союз.) В музыкальном училище на лестнице, под самой крышей, имелся закуток, где укромно пускали дым студентки. Любитель женского общества всегда находил себе там приятную компанию. Поскольку нет успеха отрадней, чем успех у дам – речь не об успехах на известном поприще, а об Успехе в их глазах – я прямо из аэропорта мчусь в училище и по лестнице взбегаю на самый верх, к прекрасным курильщицам.

Меня встречают „те же и Наташа“. Приветливы – меня давно не видели. „Те же“ – это ядрышко курильщиц, оно представлено здесь постоянно, хотя бы в лице одной из них. Кажется, что, переступив порог училища, эти студентки сразу идут сюда и здесь сидят до вечера – на каменной ступеньке, „подстелив“ портфель или том фортепианных сонат; был у них и стул, оставшийся от каких-то маляров, заляпанный масляной краской. Не только имена, даже внешность этих училищных аспазий мною забыта напрочь. Смутно проступает сквозь толщу лет малышка с лукавыми ямочками, в черных неизменно чулках (может быть, в одной и той же паре – мир был беден). Да и то этим чудом памяти я обязан исключительно своей попытке ее однажды поцеловать. Помню табачный дух в сочетании с тем, как игриво уклоняется она от моего поцелуя. Еще – пальто на другой,

избегавшей раздеваться на общем гардеробе внизу. Признак артистической натуры (когда не привилегия начальства)? Точились лясы, каковое занятие всегда непродуктивно – безразлично, говорится ли о концерте знаменитости, полвека уже как сводившей с ума полмира, или о проблеме, возникшей в жизни одной из „ядрышка“. Если проблема была неразрешима, то курили в суровом молчании.

Новенькая с интересом поглядывала на меня – студента Московской консы, а в прошлом локальную училищную знаменитость. Я благоухаю престижем, я только что прилетел, я завтра улетаю. Вроде бы куда-то все пошли – допускаю, что в кафетерий на Театральную. Но в таком случае почему я вижу себя в тот же день пьющим черный кофе с лимоном на Невском возле Главного Штаба, напротив улицы Гоголя – вдвоем с Наташей? Хотя почему бы и нет. Я и Наташа – шатания. Палиндром не мой, чей-то. (Коньяк с лимоном, кофе с лимоном – в Союзе тех лет кружочек лимона был философским камнем каждого застолья.) Я любил место, где располагалась эта кондитерская: истоки Невского, две Морские, арка Штаба, тайное соперничество Центрального Телеграфа с „Аэрофлотом“. В одной точке сходились русский неоклассицизм, с его фанфарами, отголосками наполеоновских браней, и русский капитализм: первые автомобили, первые электрические трамваи. И из этой же точки шли лучи Невской, Адмиралтейской и Вознесенской перспектив. И вот тут же я с ней – в небольшой кондитерской, это я помню отчетливо. Скорей всего, я излагаю ей свои теории.

Я был родоначальником теорий чего угодно. Из любимейших – теория синтеза искусств (в такой форме, полагаю, я просто переболел идеей соборности). В первую очередь, дело касалось цветомузыки, она вдруг всех тогда захватила. Уже в самом названии – „цветомузыка“ – непонимание существа вопроса. Посмотри (или „посмотрите“ – вначале было слово Вы), цвету соответствует только гармония, а не музыка в целом. А к общему знаменателю требуется привести музыку в целом и изображение в целом. (Я горячился, возбуждался – по мере того, как убеждал слушательницу, а вернее, под действием собственного красноречия. Вообще, слушают ли девушки умное? Или у них

на уме в этот миг совсем иное? И если да, то что?) Цвет же „гармонизирует“ линию, форму. Я бы даже начинал не с цветного изображения, а построже – черно-белого. Для начала бы ограничился тождественностью мелодии и линии. Любая комбинация звуков, то есть мелодия, уместается в пределах однооктавной хроматической гаммы. Вопрос: что может этому соответствовать в мире линий? Есть ли там элементарная праматерь любого рисунка? Если есть, то мы победили. А она есть. Это горизонталь и условно восходящие лучи. И такая же горизонталь, перевернутая, с нисходящими лучами. Первая соответствует мажорному, вторая минорному ладу, а соединенные как бы в солнышко, они и составляют хроматический звукоряд в пределах октавы. (Я рисовал картинку, которую можно было найти в книге Ревалда „Постимпрессионизм“ – об этом я, правда, умалчивал. Также я забывал указать, кому принадлежала мысль *замкнуть* радугу, что со всей наглядностью позволило мне три основные гармонические функции – тонику, субдоминанту и доминанту – приравнять к трем цветам спектра по принципу их взаимодействия. То есть, если Скрябин утверждает – я уж не помню, что он утверждает – что ре-минор у него *bleu d'outré nat*, то доминантой автоматически становился противоположный *jaune*, и субдоминанта, как стрелка компаса, точнехонько указывала на *rouge rouge*.) Еще есть тембр, тембр музыкальных инструментов. Это неотъемлемое свойство музыкального звучания, бестембровым оно быть не может. Что является тембром для уха, для глаза является – угадайте, чем? – *фактурой*. Поверхность стали, холста, пористая, занозистая, муар – для каждого инструментального тембра она своя. Но в искусстве будущего мы не ограничимся синтезом одних только зрительных и слуховых ощущений, а, в конце концов, подключим к этому весь наш аппарат восприятия, все наши органы чувств – и вкус, и обоняние, и осязание. Посредством фактуры тембры музыкальных инструментов можно будет воспринимать и наощупь. Можно будет пощупать звук фагота, виолончели...

Открывать очаровавшему тебя существу новые горизонты – что может быть упоительней? Только чтение стихов вслух (пение серенад). Поэтому, думаю, тогда же я впервые представил на

суд Наташи Окунь свои – не совсем стихи, но и не прозу. Набоков – до середины 60-х неведомое мне имя – называл это капустным гекзаметром („капустным гекзаметром автора „Москвы“ – впрочем, последний тоже долгие годы оставался для меня лишь персонажем книги „Люди, годы, жизнь“).

– Я вышел из-под земли (подземный переход) и пошел на Ленинградский вокзал. Вот это вокзал, вот-то это-то вокзал, что за славные ребята по ночам живут вот тут-то, в зале ожидания да в зале ожидания, в том зале ожидания, посереде которого стол круглый стоит, а на столе зеленая бочка стоит, а из бочки зеленая пальма торчит. Здесь не по-человечески зевают. Когда зеваю я, к примеру, то челюсть у меня отходит взад, куда-то в шею, а у них наоборот, челюсть выдвигается вперед, и создается такое впечатление, что если они закроют рты, то вцепятся зубами в собственные носы. Что случилось со мной-такое, отчего бьется сердце так быстро? Оттого что входят двое, как только почувствую себя человеком, и гонят меня в буфет. И я бегу от них в буфет. Буфет ты мой хорошенький, налей-ка подливай, пакетик свой дороженький мне в глотку запихивай. В пакете два яиченька, но есть, между прочим, и котлетка, стоит десять копеек штука...

Что могла думать девушка Наташа – два больших средиземноморских глаза, море женственности – об этих страданиях ровесника Вертера, которому не дают общежития; он вынужден блукаться по вокзалам, прячась от милиционеров в привокзальные буфеты, где торговали бредом, именуемым *пакет дорожный* (в котором „два яиченька, но есть, между прочим, и котлетка“). Я вспомнил „свингующуюся“ прозу моей юности, прочитав недавно у S.S. – в интервью журналу „Zwei und Zwanzig“: „Проза должна подняться до уровня поэзии“. Когда-то я так тоже считал, не задаваясь вопросом, почему обязательно надо быть не тем, кем являешься. Поздней я сообразил, что вся эта „цветомузыка“: искусство будущего, универсальность, соборность, „прилагательное, стоящее после существительного“ – словом, всякая „недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение“ оборачивается китчем.

Она слушала меня. Инкубационный период в любви может быть короток, но существует все равно. Провести вместе полдня,

затянувшиеся до позднего вечера и перешедшие в долгое прощание перед ее домом – этого довольно. Завтра после обеда у меня самолет. Наутро я спешу в училище, где обречен два часа слушать, как она разучивает концерт Ромберга. Впрочем, что значит обречен? Око не могло насытиться зрением (а что до уха, внимавшего совершенно беспомощной игре, то в известных обстоятельствах беспомощность выглядит трогательной). Вот она на поверку – цветомузыка. К тому же все честно: вчера было наоборот – она была моей слушательницей.

Ее школярский энтузиазм питало иллюзорное чувство, что триумфы разных казальсов – это и *наши* триумфы, включая сопутствующий им блеск белоснежных скатертей и брильянтовых диадем. Когда национальная сборная выигрывает кубок, каждый ликующий в эту ночь на улице чувствует себя его обладателем. Лишь возвращаясь к разбитому корыту, понимаешь: тебе-то что. Нас выгоняли из одного класса – попробуй найди пустующий класс утречком – мы отправлялись на поиски другого пристанища. Увы, в какой бы класс мы ни заглядывали, отовсюду ученик с учителем обращали к нам свои лица вспугнутых любовников. Моя возлюбленная шла по коридору в обнимку с раздетой виолончелью, я преданным оруженосцем нес за ней чехол и портфель. Иногда, не веря своим глазам, мы набредали на свободный класс – который тут же наполнялся пронзительным визгом пытаемого ею инструмента. Потом у нее был урок. Я, всегда чувствовавший себя в этих стенах как король на именинах, робко ждал под дверью. За обедом время жмет. Она взяла нищенские биточки – я-то брал себе какой-нибудь ромштекс, или лангет, или антрекот, и еще впридачу „салат столичный“. В аэропорт я примчался на такси, в настроении приблизительно таком, что подлинная история человечества начинается только сейчас, Энгельс и карлик-марлик были правы. (Согласен, „Карла Марла“ звучит лучше, зато карлик-марлик – мое собственное изобретение тех лет.) Между прочим, пусть не складывается впечатление, что я был набит родительскими денежками. Я сидел на мели постоянно, именно в силу обыкновения то немногое, что получал, одним махом спускать – на антрекоты, лангеты,

„столичные салаты“ и такси. Других слабостей у меня не имелось.

Как говорится, мы еще не расстались, а я уже скучал. В дальнейшем панический отсчет времени начинался с первого же мгновения нашей встречи, завершаясь роковым нулем (дней, часов, минут... поезд трогается...). Быть с нею значило непрерывно слышать тиканье часовой бомбы. Местом первого поцелуя суждено было стать Москве. И суток не прошло, как сумасшедшее желание вновь ее увидеть погнало меня на переговорный. Сидя в душной от синтетики кабинке и прижимая к потному уху трубку, я умолял ее приехать в Москву – завтра, сегодня. Сам я не мог так скоро повторить свой ленинградский вояж: назревали крупные неприятности из-за прогулов. Особенно рвал и метал преподаватель физкультуры, на занятиях „по которой“ я появился от силы раза два. Уже декан скомандовал „в ружжо!“ (только кафедра марксизма молчала, карлик-марлик меня любил: из всей группы я единственный знал, что на тринадцатом съезде с отчетным докладом выступили Мануильский и Рудзутак). Физкультура же страшна была тем, что не посидишь перед зачетом ночь, строча шпаргалки и попутно запоминая, кем был Бах („плодовитым композитором, имел двадцать детей“) да кем приходилась Фрикка Вотану. Среди моих врагов физкультура была страшна, как косматый галл или каннибал; даже моя постыдная комплекция вместо того, чтобы сослужить мне добрую службу – убедить преподавателя в моей полной гимнастической импотентности, наоборот – будила в нем какие-то садистские инстинкты. Если бы я мог на имя доброго волшебника подать прошение, ограниченное одним единственным желанием, знаете, каким бы это желание было? Превратить меня из толстенького маленького плешивенького – в стройного, благородной наружности. Ни авторством шедевра, ни богатством я бы не прельстился – радостей первого я уже вкусил, пускай и тайно, но все тайное раньше или позже становится явным; второе, деньги – но ни за какие деньги ты не найдешь себе впору длинное, чуть приталенное пальто, как носят элегантные итальянские мужчины (хотя *чувством* прекрасного ты наделен ничуть не меньше их). Никогда, ни за какие деньги не сменить тебе ампула *комика* на ампула *тенора*. А как этого подчас душа

просит! Душа-то видит тебя иным – и по праву. Я хочу быть подтянутым джентльменом – брюнетом в тисках седых висков, причесанным на пробор. Это было бы честно по отношению к моей душе, справедливо по отношению к моему благородному сердцу. Я знаю (только вот могу забыть), что живущая в каждой женщине нимфа при взгляде на меня чувствует брезгливость. Потом гражданка переборет себя – что, кстати, тоже еще не факт – но гражданка нужна гражданину... Жалка дочерям Рейна моя любовь, в этом смысле я Альберих (строчащий шпоры сегодня – кем приходится Фрикка Вотану, Зигфрид Миме, Миме Альбериху?). То есть я не проклинаю любовь, я как-то что-то сублимирую там, на литературной почве. Но что за радость, когда муза моя имеет все признаки мужского пола, в назначенный час она оплачет меня басом, ткнувшись недельною щетиной в какие-то недописанные листки.

Это был самый первый телефонный разговор в цепи из нескольких сот, нам предстоявших. Звонки в Ленинград, наполненные банальными излияниями, надолго станут для меня священным ритуалом, делившим каждый мой день на две части: *до* и *после* разговора. Я прошу как жалости и милости – приехать скорее. Я так ее *люблю!* Это слово сразу расцветило все на иной лад, попутно пригвоздив все точки над *i*. Не произнесено страшное слово – и как-то все топчется вокруг да около, малодушно оставляя дверь приоткрытой. Но теперь развязка неминуема, дверь захлопнулась, „люблю“ – это ультиматум, за которым немедленно следует либо поцелуй – либо катастрофа. Исключение: объяснение в любви, сделанное по телефону, по телеграфу или в какой-то иной заочной форме. После такой молнии когда еще грянет гром. На мое „люблю“ он грянул только на следующее утро. Только на следующее утро нагрнула Наташа.

Предварительно выдавив в рот полтюбика зубной пасты, я ждал на перроне. Паровозные гудки, клочья пара, каренинская атмосфера, любая другая вокзальная романтика, взятая напрокат из разных киношек – все это почти что было. Во всяком случае, был влажный, пропитанный мазутом холодок железно-дорожной станции, нигде в мире больше не сохранившийся

Поезд прибыл. Сперва ее профиль мелькнул в окне прохода, после чего она выпорхнула из узкой двери вагона – без вещей, с одной сумочкой – и сама, первая, прижалась ко мне. Что бы ни проявилось в этом, доверчивость ли, великодушие ли, то и другое в равной степени накладывало на меня высокое обязательство. Так мне тогда казалось, так я тогда это чувствовал. Не знаю, понимала она это или нет.

„Милый, милый...“ шептала она в не меньшем восторге, нежели мой. „Молчи“, прерывала она меня, когда я пытался прошептать „Наташа, я тебя люблю“ – и оставалось одно лишь „Наташа... Наташа...“ Мы трепетно поцеловались. Ее руки мгновенно отвечали на мои пожатия. Ангельским прикосновением своих далеко не ангельских перстов (они безобразны, пальцы юных виолончелисток) прикасалась она к моей щеке, подбородку. „Смотри, ты вот здесь порезался, когда брился.“

Я уже говорил, что самым ее сильным местом было лицо. Позле визита Аденауэра шло два фильма: „Пока ты со мной“ и „Я ищу тебя“. Наташа немножко походила на Марию Шелл, только локоны были темными, а взгляд еще ласковей, совершенно бархатный.

Она уехала назад поездом в 23.25 – что происходило в пятнадцатичасовом промежутке, сказать не могу. К тому же она много раз потом ко мне приезжала, многое могло смешаться. Например, откуда взялся в памяти завтрак в пышечной или в пирожковой, расположенной возле самой консерватории, по моему, слева – еще левей имелось заведение, связанное с чебуреками, с харчо, с двиганием алюминиевых подносов. Собственно говоря, в Москве нам деваться было в общем-то и некуда – так, какая-то база однодневного отдыха. Да хоть бы ее и впустили в общежитие! Сопровождалось бы это такими унижениями, такой грязью, что – спасибо, не надо. Вдобавок, не всякую лекцию я рискнул бы промотать, и, волей-неволей, мы оказывались в консе – если она приезжала в будний день, а не на воскресенье, как оно и бывало в девяноста девяти случаях из ста (хорошо, сотни приездов, может, и не набралось, а за тридцать – за два года – поручусь). Тогда, признаться, не различать по-барски между рабочим днем и выходным казалось

мне чем-то в порядке вещей. Но, наверное, этому была все же причина, невысказываемая – предпочитать понедельник воскресенью. Я ведь тоже лелеял свои маленькие тайны: если знать, что все это время Наташа поблизости и ждет, то даже приятно посидеть на такой лекции – „с хорошим концом“; недолгой разлукой оплатить переживание новой встречи. А может, ей было приятно смешиваться с *московско-консерваторским* студенчеством, воображая себя частью его? Она вовсе не обязана была мне в этом признаваться. Конечно, мне не доставало в ее глазах блеска – хотя бы отблеска славы тех, кто считался восходящею звездой, с кем я жил в общежитии бок о бок, вместе учился, вместе, по идее, валял дурака.

Однажды, к своему вечному потом стыду, я попытался продемонстрировать ей некий веселый „вась-вась“ с совсем еще тогда молодым ***. Фортепианный гений сидел в какой-то компании под мухинским Чайковским – помните эту огромную полукруглую скамью полированного гранита? „Смотри кто, – сказала мне Наташа. – вы же с ним...“ Да, это верно. Я подхожу к ***, не говоря ни слова, беру за „курьи ножки“ и несусь вдоль скамьи туда и обратно. ***, которому не за что ухватиться, в продолжение этой „шутки“ только беспомощно приговаривает: „Пусти, дурак“. „Но вообще-то он дурак, с ним неинтересно“, – сказал я растерявшейся Наташе, которая, даже если допускала, что *так и надо*, предпочитала все же, чтобы моя дружба с *** проявлялась иначе. Тогда, глядишь, и ей бы там нашлось местечко... Не знаю, не знаю, это все домыслы, задним числом.

Пожалуй, доподлинное воспоминание об ее первом приезде в Москву связано с кинозалом – не помню, какого кинотеатра. Фильм же, на который мы пошли, назывался „Без имени, бедные, но прекрасные“ – название сулило такой „чучмекистан“, свой или зарубежный, что *любо дорого* (смотреть будет). Да только фильм был японским. Уже получил свою премию „Голый остров“, японским искусством бредили герои моего любимого автора – Джона Ревалда, *дээн!* звенела посуда там, куда меня не звали – словом, Япония эстетически была в моде. А в том, что „мораль сей басни“ вынесена в название, при желании можно усмотреть не простодушие, а стилизацию, вдруг это

вообще какая-нибудь японская поговорка. Поскольку впоследствии кого бы я ни спрашивал, никто этого фильма не видел, я рискну – перескажу содержание; собственно говоря, риск какой: мне не поверят, решат, что я сам его выдумал, этот фильм.

Значит, „Без имени, бедные, но прекрасные“, черно-белый. Конец войны, бомбардировка, пожар, какой-то бэбка плачет, лишившийся родителей. Крики, паника, все бегут. Но одна девушка ребенка подбирает. Семье ее он нужен как рыба зонтик. Большая разоренная семья, где все ожесточены. Им и девушка-то эта – в действительности луч света – обуза, она глухонемая. А глухонемая возится со спасенным ею младенцем, заменяя ему мать, не понимая, что эта чужая кровь – еще один рот в семье. Однажды, пока она бегала за черепахой ему, настоящей живой черепахой, с которой он мог бы играть, семья благополучно сдает его в приют. Глухонемая возвращается, счастливая, возбужденная, с черепахой – нет ее мальчика. Время идет, нелегкие послевоенные времена, в которые и здоровому человеку заработать свой кусок хлеба не всегда удается. Что же говорить о таком гадком утенке, как глухонемая девушка. Ее все обижают, отпихивают, хозяин обсчитывает. Но она все терпеливо сносит, да и что ей остается. Случай (хотя, конечно же, провидение) сводит ее с другим, таким же, как и она, несчастным. Они долго, по-японски, кланяются друг другу, они – которым люди вокруг только и знают, что грубить – трогательно церемонны. Став мужем и женой, глухонемые сообща продолжают вести борьбу за существование. Он трудится в три смены, ей удастся скопить немного денег и приобрести швейную машину. Но не успевает она получить первый заказ, как родной брат, лодырь и пьяница, обманом завладевает швейной машиной, которую немедленно пропивает с друзьями. И так во всем, решительно во всем. Кажется, судьба избрала этих людей мишенью для своих ударов. Однако ангельское терпение и столь же нечеловеческое мужество, с которым они переносят невзгоды, не остаются совсем уж вознагражденными, постепенно это начинает приносить плоды. Вот и муж получает прибавку к жалованию, им довольны. У жены тоже как-то налаживается с работой. Но главная награда – ребенок, которого они ждут.

Ребенок? Какой тут ребенок, им бы самим не умереть с голоду. Глухонемые, как они его вырастят? Но ребенок становится смыслом их жизни, в нем они обретают счастье. И снова крах. Рушится все, когда в ту роковую ночь в их лачужку прокрадывается вор. Поживиться вору нечем, но расплакавшийся младенец, которого он разбудил, нагишом выползает через открытую дверь на улицу; снег, пурга. А глухонемые спят непробудным сном. От такого уже никому не дано оправиться. Но только не этим двоим. Воистину, как травка пробивается навстречу солнцу, так и они тянутся к своему солнцу – человеческому счастью. Снова рождается у них ребенок, снова мальчик. Как уж только они не ходят за ним, какой только стеной любви и заботы не окружают. Гордостью светится лицо матери, когда в конкурсе на звание самого здорового ребенка побеждает ее малыш. Но через немалые испытания им предстоит еще пройти. Прежде всего школа, где недуг родителей явится причиной насмешек над мальчиком и даже побоев. Не сразу понимают они, почему, возвращаясь домой после уроков, сын с ними груб. Мать в тревоге: быть может, он болен? Болен... еще немного, и он начнет сторониться их на улице, ему стыдно. К чему угодно были готовы двое несчастных, измученных людей, только не к этому. К счастью, некто, многомудрый и добрый, помогает осознать мальчику, какой черной неблагодарностью платит он своим родителям. По тому, как овладевает подростком раскаяние, понимаешь: в действительности он создан из того же человеческого материала, что и отец с матерью. Вроде бы снова все хорошо, только подспудное беспокойство не оставляет нас, мы постоянно ждем чего-то... (В темноте полупустого зала мы сидим, сплетя двадцать пальцев – на чьих коленях, на ее или моих они покоятся, неважно. В плане чувственной остроты это равноценно: ты осязаешь ее ладвию или она твои. Притом что взаимность – свежообретенная. Пока еще самое острое желание, оно, как жемчуг в вине, растворяется во влюбленности. Притупляется и растворяется в умилении: что эта чужая стать, чужая по *природе* своей, отныне тебе родная. И то, что она вся доступна твоим рукам, делало эти руки скромней. Притрагиваться рукою к руке, когда уже притрагивался рукою к груди – значит удеся-

терять потенциал томления, которому, как сам же удостоверился наперед, объятия раскрыты.) Но неужели действительно ничто не подстерегает больше эту несчастную чету, столько уже пережившую – откуда же тогда неизъяснимое чувство тревоги? Наступает волнующий день, день окончания их сыном школы. Юноша среди лучших. Празднично одетые идут родители на торжественную церемонию вручения аттестатов зрелости. Весна, природа ликует, все в цвету. Их встречают улыбками, для них приготовлены почетные места. Неожиданно подходит служитель и после взаимных поклонов объясняет женщине, что ее спрашивает кто-то. Она быстро идет туда, куда ей указали. Мелькают белые от цветов ветви. Она идет, почти бежит, цветущим вишневым садом и в конце аллеи видит мужчину в форме летчика. Он устремляется ей навстречу – ребенком она спасла его во время бомбежки...

Тридцать раз умирал я от счастья, ожидая в Шереметьеве или на Ленинградском вокзале *ту* Наташу; тридцать раз мне в глаза било солнце встреч. И столько же раз наступала расплата: как пьяница расплачивается похмельем, расплачивался я каталепсией поздним вечером – снова на перроне, снова один. А наутро начинались будни тоски и ожидание другого такого же взвихренного дня, прообразом которого бывала телефонная трехминутка. И все это время в душе звучали Вагнер и Шуберт, Шуберт и Вагнер – озвучивали, так сказать... Иногда как метеор несся я сам в Ленинград. Тоже раз тридцать-сорок, наверное, слетал за эти два года. Причем на каникулах, когда, казалось бы, возможна была вереница райских дней, она уезжала – то в Одессу, то в Ригу, то к родственникам, то к подруге. Нет! Не потому, что ей хотелось покрутиться в коридорах московской консы, появлялась она в Москве в черные календарные дни – выходные и праздники предназначались для других, более блестящих развлечений. А я этого не понимал, хотя и помню, писал тогда: „Если с утра театр, а после будни – погано. Если с утра театр и даже после к тетушке на утку, но вечером дома – погано. Но когда сперва утреник, после к тетушке на тушку тушеного тушканчика, а вечером на день-рождень – вот тогда...“ Т.е. получить *удовольствие* от удовольствий можно лишь, когда,

вкушая одно, *предвкушаешь* и другое – для чего наиболее драгоценные, „счастьеемкие“ часы суток, дни недели и т.п. (вечера, уикенды) должны препровождаться в соответствии с „табелью удовольствий“, выстраиваемых наподобие лесенки: с утра в театр, а на „день-рождень“ – вечером.

„День-рождень“, „тушка тушеного тушканчика“ – все это из повести „Цвишен ям унд штерн (что значит в переводе с идиша „Между морем и звездой“). „Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды“ – чтение Наташе именно этой вещи инкриминировалось мне на достопамятном собрании в Ленинградской филармонии. Марк Захарович Окунь, демонстрируя незаурядную осведомленность в том, что касалось моих отношений с его племянницей, по существу занимался публичным доношением: совершенно пристойный с точки зрения полиции нравов роман о гомосексуалистах Атлантиды мог зато без труда привлечь к себе внимание полиции тайной. Но есть и Божий суд, Марк Захарович, и с ним шутки плохи. Впоследствии повесть „Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды“ будет издана двумя благородными иерусалимскими пьяницами (см. „Саламандра-2“, Тель-Авив, MCMLXXXIX).

Я бы хотел еще немного пораспространяться на счет моей „Атлантиды“, тем более что у нас с Наташей было столько разговоров о ней. Семантическое извращение как отражение извращения полового и даже не столько полового, сколько вообще всей жизни на материке, обреченном погибнуть, причём отнюдь не за „поношку табака“ – так вот, весь этот комплекс извращений может сделаться чем-то привычным: „внутри любой аномалии складывается своя собственная человечность (почему даже чудовищная аномалия может стать предметом ностальгии)“. Читатель примерно через десять-пятнадцать страниц забывает, что он в аду, также и лексическом, он „болеет“ за героев, приемлет их „добро“ и „зло“ – разумеется, лишь покуда вздыхает над раскрытой страницей волшебный замок из дерьма. Моей задачей было доказать, не абстрактно – на примере читательской реакции: все, что есть в литературе высокого, этического – в действительности функция эстетики. И шире – но уже наоборот, это я доказывал самому себе: эстетический императив

(а другой нам неведом) может быть воплощен лишь в нравственной сфере. По принципу: совершенство формы – залог нравственного совершенства. Потому искусство – это, если угодно, трансформатор Господень, подушка между Ним и Нами, для смягчения удара. (Вероятно, нечто подобное имел в виду Борхес – которого всего лишь шесть лет как перевели на русский (1984 г.) – в „Сообщении Броуди“.)

Между мной и Наташей царило полное единодушие. Каждое место в „Атлантиде“ читалось, обсуждалось. Других читателей у меня не было – я хорошо знал, где живу и чем мое писательство чревато. Отсутствие аудитории меня мало трогало. Как уже раз говорилось: „открывать очаровавшему тебя существу новые горизонты – что может быть упоительней?“ С новыми листками наготове я встречал ее – или сам прилетал с ними к ней, мы не успевали „обворковать“ друг друга, как я усаживал ее где попало: в метро на лавочке, в кафе, в сквере – слушать.

Конец „Атлантиды“, в отличие от начала (я говорю о первых шести с половиной страницах, которые „не вышли ростом“), получился сильным, цепким. Это – шок возвращения к нормальной речи, к нормальным людям: рабы-греки захватывают гребное судно, чтобы бежать на родину. Бой и победа. Вдруг язык – как у славного Стивенсона. Заключительные сцены я писал так быстро, как будто моим пером водил ангел художественной правды. Это случается, если текст *литературно праведен*. Говоря иначе, адекватен своему небесному оригиналу

„Атлантида“ была написана. Завершился труд всей жизни, по поводу чего... а ничего. Ничего не изменилось внешне. Москва, как была, так и осталась горбатой, вся в прыщах человечины, вся в грохоте грузовиков. Разве что (слово в ее оправдание), в ней только и могла создаваться „Атлантида“, мнившаяся мне эпическим колоссом. И как было странно видеть потом, что сей колосс уместился на ста восемнадцати машинописных страничках

И я ринулся в Ленинград, в портфеле сюрприз – законченная вещь; да и сам я сюрприз – приезжал, не предупредив. Не хочу вспоминать, какой рисовалась мне эта встреча, как я не знал, что придумать еще для пушнего эффекта своего появления.

Картина „Не ждали“, только не Репина, на другой сюжет. Он таков. Звоню к Наташе, даже не из аэропорта (кстати, помните? Тогда в „неканикулярное“ время студенты летали за полцены). Прямо перед ее домом телефонная будка, деревянная; они – и урны – изготовлялись еще по образцу чеховских беседок. Гудки. Но прежде, чем тоскливое опасение не застать ее дома успевает перейти в уверенность, она говорит „але“. Мелькнула мысль ее разыграть: как будто звоню из Москвы, и через секунду позвонить в дверь. Глупо. Но на маленький розыгрыш я все же решился, сказав, что говорю с вокзала и что у меня для нее грандиозное известие. „Прошел на международный конкурс?“ – живо спросила она. „Глупенькая, „Атлантиду“ закончил. Приехал прочитать тебе конец“.

Она сейчас не может со мной встретиться. Только завтра. Если бы она сказала: сейчас не могу, только через полтора часа или даже через час – я бы и то смутился: вечером в субботу какие у человека могут быть дела? Но мне, приехавшему, стоящему перед ее домом (или даже на вокзале – разницы никакой), сказать „завтра“ – это что взять и кнутом. Уже с первым ударом кнута истязаемый теряет сознание, а второй и вовсе смертелен – так, по крайней мере, пишет Евреинов в книге „История телесных наказаний в России“.

Я взорвался и швырнул трубку. В чем тут же раскаялся, поскольку явное было недоразумение. Я чего-то недослушал, недопонял. Словом, все более я убеждал себя в том, что извиняться придется мне, и уже с этой целью готов был снова набрать номер номеров – мою „Песнь песней“: Ж-2-79-48 – не правда ли, фонема брусничная, густая... когда отворилась парадная и „передо мной явилась“, нимало о том не подозревая, благодаря укрывшей меня будке, Наташа. Во всей своей красе: ветерок играет темными кудрями, руки в карманах белого плаща, воротник поднят. Мы все как сумасшедшие ходили в кино. Думаю, не ошибусь, предположив, что Наташа себе представлялась в этот момент героиней французской лирической кинокартины (со смертельным исходом) „Искатели приключений“.

В боготворимом мною городе стоял сентябрь. (Я не о Париже...) Т.е., условно говоря, стоял хруст листьев под ногами. Он

стоял под ее ногами и с интервалом в десять шагов – под моими. Я шел, не теряя из виду белевший во тьме плащ. В конце двадцатых чисел (даже могу сказать точно, когда: суббота, двадцать седьмое сентября) в это время уже спускалась тьма на город (боготворимый, но не Иерусалим). Она остановилась на остановке, а я спрятался в подворотню, откуда высовывался половинкой мордочки. Сорок третий маршрут был из *полупод-лых*. Повсюду есть свои аристократические маршруты и свои плебейские, сорок третий появлялся на Невском, на отрезке Маяковская – Садовая, по которой затем доезжал до Никольской и на Театральной делал кольцо. Плебейским такой маршрут не назовешь, но именно между Московским вокзалом и Садовой Невский был еще толстым, купеческим, „приезжим“; *порода, пушкин* – все это начиналось где-то от портика Руска, тогда еще не снесенного, заостряясь легкой стрелкой к Адмиралтейству. Сорок третий, хотя и доходил до консерватории, где ставил точку, никак не мог сравниться с тройкой, сворачивавшей с Невского на Герцена, проезжавшей Исаакиевскую (это тебе не Сенная), дальше по набережной Мойки, и на Театральную въезжавшей с той же стороны, что и, вероятно, тройка Государя Императора, когда Самодержцу Всероссийскому и обоим Индий угодно было почтить Высочайшим своим присутствием Мариинский театр, ввиду, скажем, премьеры балета Чайковского „Щелкунчик“.

Что – делать – было? Она ехала в консерваторию, верней, скорее всего в училище. Почему столь категорически без меня? Что там могло быть сегодня, в субботу-то? Неважно... как быть сейчас, когда подойдет автобус? Сесть в него? Это было невозможно сделать без того, чтобы она меня не узрела. Заняться выяснением отношений: „Кармен, у нас еще есть время“. Какие пытки, вот так, ни зächто ни прбчто. Но позволить ей уехать – у меня бы не хватило сил.

Разрешилось неожиданно просто: по сорок третьему маршруту, оказывается, пустили сдвоенные венгерские „Икарусы“. Я сзади вскочил в освещенный гигант, ею незамечен – сижу, сжался в углу. Сиденье еще не изрезано, еще отликает новеньким социалистическим комфортом. На социалистическом суб-

ботнике (суббота ж!) под бревно подставляю сердце: наблюдаю, как родная стоит чужою. Уравнила меня в правах с остальными – с пассажирами-контролерами, которым, и в том числе мне, предъявлялась „карточка“ (в каком это городе женщины, входя в автобус, громко похвалялись „месячными“?). Тем не менее Наташа не села – как библейская Рахиль* – а осталась стоять, да еще на самом сгибе автобуса – круглый сустав под ней ходил ходуном (я, впрочем, двадцать лет не видел этих „Икарусов“, и в смысле конструкции, возможно, они у меня спутались с другими монстрами общественного транспорта – имейте, в таком случае, ко мне снисхождение). О чем это говорило? Я – когда я продолжал бы стоять, невзирая на болтанку в семь баллов? Перебираешь в уме обстоятельства: когда скоро выходить... когда скоро выходить, а ты перевозбужден... когда скоро выходить, а ты перевозбужден настолько, что норовишь внутреннюю *встряску* подкрепить внешней тряской... Я ведь уже тогда был очень умным.

Когда автобус, подбоченясь, вырливал на Невский, и доморощенный неоновый Запад за стеклом закачался, прежде чем поплыть ровно, Наташа стала хвататься за воздух – прежде чем поймать рукой поручень. Как раз она смотрелась в маленький квадратик зеркала, вынутый из кармана, и была застигнута врасплох. Свет электрический, усталый – наполняющий автобусы и троллейбусы – кажется черной толпе снаружи едва ли не уютным. Наоборот, за окном автобуса хитроумно изогнутые неоновые трубочки (одна непременно малиновая), плывущие медленно против течения (твоего), словно говорят: *хорошо где вас нет*. То не был доморощенный Запад. Оклеветал-с. Огни – неон –плыли в *уютную* коммунистическую небылицу: чудище обло, озорно, огромно, стозевно и... жаждет уюта. Только это был уют моей „Атлантиды“, о чем толпы извращенцев не подозревали, как и о том, что они – извращенцы. Хорошенький сюрприз ждал их всех. И дай Бог, если это еще будет как у меня в „Атлантиде“: *шок семантический*. Нет, не дай Бог, чтоб как у

* См. Быт. 21 : 35

меня, спрятавшегося на заднем сиденье, высматривающего оттуда Наташу – с зеркальцем.

Снова „Икарус“ согнулся, сходя с неоновой трассы и зарываясь в темноту Садовой. Немного не доехали до стилиажной вывески „Скеавфееер“ – мною она читалась так с тех пор, как в киножурнале „Ленинградская кинохроника“ какой-то ретроград и стилиагоборец ее так прочитал (мы ведь как сумасшедшие бегали в кино). Кафе, первая здоровенная ласточка хрущовской весны, нуждалось в подходящей вывеске: **СКЕАВФЕЕР**.

(...) Я не ожидал, что она выйдет на этой остановке – до консерватории их оставалось еще пять – и меня чуть не прищемило дверью, в общем-то скорей даже прищемило. А почему, собственно, она должна была выходить на Театральной – она что, докладывала тебе об этом? Нет, она ничего такого не докладывала. Все, васечка, решаешь в свою пользу, все пышешь оптимизмом... А еще свидетель Атлантиды.

Я не выслеживал ее, как ревнивый любовник, я был как брошенный ребенок, он побежит следом, покуда у него хватит сил. Я шел за ней, потому что идти туда же, куда и она, для меня было естественней всего. В к/т „Молодежном“ новшество: два зала, и в одном проходила „Неделя французского кино“. Сегодня показывали „Теруэльских любовников“ – я знал песенку с таким названием, ее пела Эдит Пиаф, а музыка... музыка, кажется, Микиса Теодоракиса. (Вспомнили мотивчик?)

Толпа рвущих лишний билетик бывает такая, что – „с руками оторвут“, а бывает более или менее рыхлая. Эта – рычала. В другом зале крутился фильм, как бы это сказать понежнее, для избранных. Мало было избранных. Я тоже входил в их десятку – не могло быть и речи о том, чтобы попасть на „Любовников“ вслед за Наташей и за человеком, поджидавшим уже ее с билетами. Голубенькие, заветные, они мелькнули в его ладонях, чему оба просияли, как сообща произведенному на свет чуду.

Надо же мне было снова угодить на „Без имени, бедных, но прекрасных“. Не могу похвастаться, что я очень стойко перенес это совпадение, но я не был одинок – все десять рыдали. Дальше происходило так. Я их подождал – это была типичная любовная

пара, куда более любовная, чем она и я: лица обоих выражали похотливое предвкушение того, чего у меня с нею так и не было. Да и возвращалась она не к себе, а ехала с ним – очевидно, к нему. Поскольку это был и мой автобус, то я сел напротив. Не понял, смутилась ли Наташа. Привет – привет. Все как в лучших домах. Случайная встреча. Познакомьтесь: ванечка – васечка. Все трое, между прочим, из одного дома – Давидова, но какая разница между ванечкой и васечкой: умное красивое лицо, хороший рост, настоящий мужчина – и еврейский сатир, болтает короткими ножками. Мой визави холодно любезен (а мне чудится насмешка). Уверен: у него ни на секунду не прекращается слюноотделение по поводу того, что Наташа – виолончелистка. Какой кайф, сейчас этот солидный еврейский юноша будет обладать виолончелисткой. За таких, кстати, выходят замуж. Если он вправду будет ею обладать через полчаса, то значит, свадьба не за горами.

Я откланялся – мне выходить. Меня не удерживали, не предлагали проехать с ними еще пару остановок. На прощание я позволил себе максимум того, что мог себе позволить: пожелал им *спокойной ночи*. Если б сейчас можно было послушать „Любовь поэта“... Только не это:

Ее он страстно любит,
А ей полюбился другой,
Другой этот любит другую
И назвал своею женой

– а что-нибудь мягонькое: „Я не ропщу, хоть сердце и в огне“. Дитя, дитя... Полагая от огня спастись огнем, я погасил несколько сигарет о свое тело. Затем надумал самоубийство. Долго шел пешком к Неве, дошел до середины Литейного моста, постоял, облокотившись о перила, обернулся – никого, и с силой вытряхнул в пучину вод все содержимое портфеля, т.е. „Атлантиду“. Дома не знали, что я прилетел, и я дома не появился. Утром в Москву был доставлен неопознанный труп. (Лишь много лет спустя я восстановил „Атлантиду“, отчасти по черновикам, отчасти по памяти.)

– Ты же ее знаешь, Натку Окунь, – говорил пуся Меллер, ткнувшись носом в горчичку, и чихая, и хрумкая западногерманской сосиской. – Как раз возле Чернавина сейчас стояла, – и снова хрумк сосиской.

С Меллером мы распрощались у дверей отеля „Корделия“ (полумрак, стекло, три звездочки... Дурачье! Это грузинский коньяк в советских чемоданах: „полумрак, стекло, три звездочки“). Я безрезультатно пытался нащупать – каким-то особенным заглазным щупом – *ее*, стоявшую рядом с Чернавиным: вот тот нагибается, подает милостыню мне... Нет, уж если не обратил внимания – так и не запомнил зрительно, оно понятно. Неужели она так изменилась? Мне ведь, повторяю, в отличие от нее, было не сорок с гаком, а два раза по двадцать. Я с ними со всеми виделся в последний раз вчера. Проснулся, а Наташа Окунь – бабушка, Меллер – седой... От Меллера я толком ничего не добился: „Муж у нее какой-то... в общем все тот же... (Тот же – это с которым я повстречался в автобусе? Тогда она быстро вышла замуж.) Ей-Богу, не знаю. Дочка, кажется, музыкальное училище кончила. Внучка родилась – я уже говорил“.

Ну, а если б я ее узнал? Чернавин подает мне юань, и тут я ее узнаю. Это было бы, наверное, посильней, чем „Фауст“ Гете. Об обещании закатить пир на весь оркестр я бы ни минуты не сожалел, это точно. У меня был бы достойный этого безумия стимул. Теперь я даже рад, да-да, рад, что так получилось. Плевать мне на бухгалтерию. Раз в жизни могу. Фунтик в таких случаях говорит: „Имею право“. Это у нас такое волшебное слово в семье, сказал и в кассу. Вроде как „Сезам, откройся“. Так вот теперь я *имею право*. Никогда я себе лично ничего не позволял, неприхотливей меня, наверное, на земле не бывает – Фунтик на такие речи всегда говорит: „Ах, ты моя верблужья колючка“. Но теперь я – *имею право*. Во сколько обойдется мне мой звездный час, во сколько „звездных талеров“, и помыслить боюсь, но я *имею право* и этим правом воспользуюсь. Точка.

А я злопамятный. Наступили – и пошел наружу черный гной. Я только прикидывался всю жизнь ангелом. Рождественским. Из сахарной ваты да из немецкой сказки. С другой стороны, удачно прикинуться, ни разу себя не обнаружить – это уже

чего-то стоит. Вот тем, чего это стоило, что заработано мною, что *сэкономлено*, я нынче и расплачусь.

Странно, я не подозревал, что рана все еще гноится – жил и жил. Но когда мне брошен вызов... по-китайски это будет „юань“... когда мне, значит, брошен юань... Первый-то начал не я, меня вынудили. Что я – знал, что они все здесь? При чем же тут... мм, хлестаковщина. Это была, если хотите знать, элементарная защитная реакция с моей стороны... А впрочем, все реакции защитны, это еще не оправдание. (Так говорит моя самолюбивая совесть. Ибо не знаю, как у других, моя совесть питается сырым мясом – до того самолюбива. Какая-то гордыня, а не совесть.) **М о я с а м о л ю б и в а я с о в е с т ь:** тогда все можно считать защитной реакцией, в том числе и хамство – которое тебя особенно хлещет по лицу. Знаешь, почему оно тебя так достает, почему в этом смысле ты такой *уязвимчик*? Думаешь, по причине особого душевного благородства? Отнюдь. Ты отягощен вкусом. Ты обожествляешь свой вкус, ты его жрец, ты его раб – чье-то хамство его осквернит, и с тобой уже припадок. Но когда твой вкус позволяет тебе сквитаться с хамом его же оружием, ты делаешь это за милую душу. Пример? Яцек с супругой схлопотали по мордасам?

То же самое, однако, можно делать и на ходу – я имею в виду „самоковыряние“, „микрохирургию волоса“, что всегда было моим коньком: *самоковыряние как следствие самообожания и одновременно как способ самосовершенствования*. Приятное сочетается с полезным. Только, пожалуйста, то же самое делай на ходу, поскольку времени в обрез. От меня требовалось больше расторопности и меньше созерцательности, если я всерьез собирался снять помещение на сто человек, жадных до халявы, в ходе которой животы будут набиваться на три дня вперед.

– Энтшульдиген зи битте, гибт эс айн хинезише ресторан ин дер н:зе? – спросил я одного – с акцентом, который кириллица честно воспроизводит. Спрошенный, не останавливаясь, „пожал головой“, из чего следовало, что он либо презирает китайскую кухню, либо решил, что я хочу себе подыскать там работу. Не у того спросил, парочки всегда любезны – друг перед другом красуются.

– Энтшульдиген зи битте...

Две возможности открывались передо мною во всем их пугающем блеске. Китайский ресторан (по части расходов это наименьшее зло, притом что „экзотик полный“) и немецкая „кнайпа“ величиною с газовую камеру. Заказать в ней восемьдесят больших столов на поздний час. Вдоволь „циггорнского“ бочкового (или какого-нибудь другого местного пива, которое по старинке, как при кайзере еще, развозится на огромной фуре, запряженной парюю чудо-ломовиков – на таких у Васнецова восседают чудо-богатыри). И грядки с бутербродами, как умеют их подавать немцы на подносах: среди петрушки, салата, помидоров булочки с разными ветчинами, бужениной, салами, мортаделлой, сырым фаршем, обсыпанным лучком (с пивком, ребята, потряс!), с зельцами, свинными и из птицы, и – „только для интеллигентных“, как пишут в брачных объявлениях – с желтым сыром и камамбером.

– Энтшульдиген зи битте...

Но китайский ресторан все же предпочтительней: китайцы трудолюбивей, велика их заинтересованность в клиентах. К тому же для советского человека ресторан с горячими блюдами, со всем положенным азиатским сервисом – посолидней какой-то пивной. Советским людям приличествует красный фонарь китайского ресторана. Ладно. Газовая камера для них слишком демократична, а красный фонарь в самый раз. Пластмассовый интерьер, гонконгский шик, на столиках горячие плитки (ого!) Опять же пивом можно накачаться и у китайцев – в Германии пиво отпускают даже в „мак-дональдах“. А что если их в „мак-дональд“? Помню одну старушку, гостившую в Ганновере у дочери, Инессы де Кастро (по мужу). Она называла „мак-дональд“ *американкой*. Дочь сводила ее раз туда, и вставшая в детство старушка потом долго вспоминала (это было лет десять назад): „Ах, мы с Инусей ходили в „Американку“, „Ах, как было в „Американке“... „Мак-Дональд“ – это хорошо.

А китайский ресторан лучше: „закомплексованный обед“ вообще стоит десять-двенадцать марок, зато шику и позолоченных драконов – как рису в тарелке. Рису будут им давать от пуза. С хлебом тоже уладим. У китайцев перебои с хлебом,

поэтому придется экспортировать его из ближайшей булочной (Bäckerei-Konditorei). Так где же ближайший Entenhaus или Nanking или King Du?

– Энтштульдиген зи битте...

Я берусь перечислить названия китайских ресторанчиков, которые есть в телефонной книге любого немецкого города. Ну, во-первых, города Пекин, Нанкин, Кантон, Гонконг и Тайбэй дают им свои имена – это уж непременно. Ах да, еще Шанхай, я совсем забыл об этом „китайском Ленинграде“ (я же не сказал „китайском Петербурге“, я сказал „китайском Ленинграде“). Затем „Лотос“, „Жасмин“, „Бамбуковая хижина“. В отличие от флоры, фауна представлена скупой: „Тао-Тао“. Далее „Чайна-хауз“, „Чайна-таун“, „Формоза“, „Азия“ – на пути к мировому господству, иначе не назовешь... Баста! Это не путевые заметки прожорливого нищего.

Несмотря на начало ноября, выдался совершенно летний день – прямо раздевайся и загорай. Сразу без спросу представилась картина города в духе Бунюэля. Прохожие, как ни в чем не бывало, кто целеустремленно, кто рассеянно, кто будучи поглощен беседой со спутниками, движутся в разных направлениях – но в одном исподнем. Секретарши, в совершенстве владеющие секретом цивилизации, – в трусиках и лифчиках, черных, розовых и белых. Их начальство из кабинетов спешит в гаражи в матерых волчьих бермудах. Турки в своем турецком белье словно сошли с картины Бруни „Медный змий“. В заношенном, но опрятном белье – „поджатые губки“; я так именую немецких мещан, которым жалованья хватает тютелька в тютельку, чтобы держаться гнусно-пристойного образа мыслей в своих гнусно-пристойных новостройках, наводя свой гнусно-пристойный порядок – покамест еще только в пределах низеньких комнаток. Забавно, что от „поджатых губок“ ничем не отличаются местные молодые махновцы, когда они без своей защитной униформы цвета „хаки“ или „лила“ законопослушно ведут за рога двухколесных коней. Вся улица в исподнем – видение хоть и не апокалипсическое, но пророческое. Не забудьте об этом: оно – пророческое.

„Лотос“ – ресторан, в котором нынешним вечером предстояло

разыгратья некоему фарсу; раззолоченно-пластмассовые чудовища сему подстать. Я набрел на „Лотос“ *случайно*: сперва на противоположной стороне прочитал „Лото“, добавил лакейское „с“ по неискоренимой привычке каламбурить – посмотрел направо: и впрямь „Лотос“, не иначе как экстрасенсорно икнулось. Застекленная красная дверь обклеена „видами“ кредитных карточек: „Америкэн Экспресс“ – бело-голубая, как открытки с видами Зюльта – также цвета морского прибора и „Виза“, и „Дайнерс Клуб Интернейшнл“, только на „Еврокард“ из „Е“, словно из пасти Змей-Горыныча, вырывается краснопламенный язычок. Обследуем меню прежде, чем переступить порог и приступить к переговорам. Причем дальше дневных обедов простирает свое любопытство – лишнее. Компания в сотню ртов может и в полночь рассчитывать на полуденные цены. Так-с, что же мы имеем с гусь... По порядку. Обед, который может себе заказать с понедельника по пятницу между двенадцатью и пятнадцатью часами „человек толпы“ – и далее поедать его, орудуя вилкой и столовой ложкой, коль скоро не владеет искусством скрещивать палочки (почему-то германо-китайской конвенцией использование ножей запрещено, тогда как в великобританских и французских „лотосах“ хочешь, режь себе ножиком на здоровье... а что, сиживали за столом, сиживали, за последние-то двадцать лет):

филе „Хуанхэ“ под лимонным соусом с фисташками;

хрустящие (knusprige) куриные крылышки „пинг-понг“ в сливовом вине с головками спаржи;

„В стране улыбок“, карась жареный с китайскими грибами и пятью приправами;

восемь видов копченостей „Семейное счастье“;

„Утка в бамбуковых зарослях“, утиное жаркое по-охотничьи;

печень „Марко Поло“, пикантная, в травах;

„Шанхайский домик“, ароматное ассорти;

к сему гарантированная каждому китайцу народной властью *его ежедневная чашка рису* и в виде закуски по желанию закусывающего – либо пиала пекинского супа, либо эггрол; по моим наблюдениям, абсолютное большинство берет суп.

Доктор Но кивком сопровождал каждое мое слово. В его

кабинете я очутился, миновав какую-то реторту, где все булькало и шипело – меня проводила угрюмая подавальщица с кривыми тонкими ножками, форму которых повторяли щелки ее глаз (кивая мне, мистер Но улыбался, не обнажая зубов, значит, тоже – такой же ножкой).

Я говорил, что сто участников прославленного коллектива, дающего сегодня концерт из произведений таких-то и таких-то композиторов, хотели бы отужинать потом в „Лотосе“. Дружеская русская попойка. Я больше всего опасался слова „задаток“. Но мистер Но же китаец... А китайцы не боятся, что белый человек их надует, у них свои страхи, китайские – что белый человек предпочтет им другого белого человека. Поэтому выясняется, что „Лотосом“ накоплен изрядный опыт в организации подобных товарищеских ужинов. К тому же (вот не случайно, что я пришел именно сюда, как чувствовал, наверное) год назад в Циггорне гастролировал черноморский матросский хор, их тоже повели в „Лотос“. Die Blauen Jungs von Schwarzen Meer остались очень довольны. Но их окрестил так потому, что так писалось и в афишах. Я помню: они были расклеены в прошлом году по всему Ганноверу – типичный sovexport, интуристская полиграфия. „Краснознаменный ансамбль песни и пляски Черноморского флота“. По палубе линкора в бескозырках, обняв друг друга за плечи, прохаживаются вприсядку пятеро Blauen Jungs von Schwarzen Meer („Голубых ребят с Черного моря“).

Но продолжает:

– Тогда меню было таким. Эггрол, салат „Семь красавиц“ – осьминог, кальмар, каракатица и другие дары моря. Затем „В стране улыбок“, жареный карась по-китайски. Тушеное вымя „Муж пришел домой“ – сейчас мы от этого блюда отказались, нам больше не поставляют тибетского чеснока. Еще... – доктору Но понадобилось время, чтобы вспомнить. – Кажется, „Гадкий утенок“ – куриные гузки, зажаренные до хруста, с ананасом, грибами и лучком. Десерт же обычный. (Это означало, всем по горячему банану – в меду, облитому спиртом и подожженному. После плотного обеда – а я однажды эту штуку пробовал с Фунтиком – такое чувство, что набиваешь себе камнями желчный пузырь. У меня – или я уже докладывал? – с желчным пузырем

несладко, нервы. Если все, что внутри меня, считать парилкой – без оглядки на мой апоплексический затылок – то двух мнений быть не может, куда при этом кваску плеснуть, чтоб зашипело – где эти камни сложены. Я вообще терпеть не могу китайскую еду: все сладковатое, все соевое, но Фунтик...) Д-р Но: Прохладительные напитки стояли на столах, горячительные подавались, и счет за них был представлен затем отдельно.

Сейчас мы его испытаем, китайского мистера.

– А с хлебом как?

– И... и... и... – смеется тот своим третьим глазом – в беззубую китайскую щелку. С возрастом и у китайцев-мужчин делаются бабьи лица. Да не заподозрят меня в расизме – просто мне не по душе моя затея и все с ней связанное. И в первую очередь я сам себе гадок, мистер Но – в последнюю. Боюсь, сейчас он мне предложит каждое блюдо предстоящего ужина продегустировать. И не вздумай отказываться, мол, в желудке уже плавает сосиска с гороховым супом. Для китайца это кровная обида – то же самое, что сказать: я вашу отраву не в состоянии в рот взять, просто позарился на азиатскую дешевку в блестячках.

А с хлебом – что ж, хлебушко, понимаем-с.

– и... и... и... Будут крупного помола ржаные булочки и белый французский хлеб.

Угадал. Невзрачная и хмурая подавальщица приносит мне продолговатое блюдо со множеством причудливо изогнутых пегородок внутри. Я осторожно, как воду пяткой, попробовал вилкой содержимое одного из „озерец“.

– „Семь красавиц“, – поспешила представить мне осьминога, каракатицу, медузу и прочих Хмурая и Невзрачная Подавальщица (ее „немецкой“, конечно, следует воспроизводить иероглифами, как мой – кириллицей). Материалист сказал бы – о подавальщице: потому и хмурая, что невзрачная. Идеалист, посмею ли и я в душе оспорить это, поменяв местами причину и следствие?

И я *ел* их: медузу, каракатицу, тритона, осьминога, астрию – всех подряд. Доктор Но, расчистивший для этого место за своим письменным столом, смотрел мне в рот, как Конфуцию. Не доесть этот морской гадюшник я не мог.

„Семейное счастье“ – так называлась следующая пытка, по словам Хмурой и Невзрачной. Доктор Но шутит:

– У каждого народа свое представление о семейном счастье. В Англии или России вам бы просто положили здоровый окорок. В Китае, однако, это связано с восемью видами копченостей. Знаете, у нас всего много, но оно все маленькое, миниатюрное... и... и... и... – мистер Но сделал такое движение, как будто вяжет на спицах. – Но Голубых ребят с Черного моря, во всяком случае, мы переубедили. Их даже приезжало снимать телевидение.

– Я тоже не исключаю телевидения, – сказал я.

Далеко-далеко начинался приступ. Уже сверкало под ложечкой. Узнаю тебя, Вавилонская медь, узнаю вас, три окорока в печи огненной. Вот-вот затянут аллилуйю. Три окорока – это компромисс: восемь сортов копченостей – чересчур, один – недочур. Они вышли целыми и невредимыми отроками, чудо бывает, молись, чтоб три отрока вышли невредимыми, потому что печь огненная, как и Царство Божие: в каждом из нас. Только Царство Божие в душе, а печь огненная под медной ложечкой. *Заесть приступ.* Можно молиться, а можно попытаться заесть приступ. Заткнуть его медный зев чем попало – копченостями, уткой (но не в бамбуковых зарослях, их на сто человек не хватит, „Гонг-Гонг“ – это будут моря соуса и горы грецких орехов, которыми пытаются в Страсбурге гусей, чтобы вспухала их бедная печень). Ага, вот печень Марко Поло, пикантная и в травах, и, может быть, этим ограничимся? Но неумолимы стражники, стоящие по обе стороны от меня: доктор Но и Хмурая и Невзрачная – Инь и Ян. Еще десерт. То, что дамы обожают: горячие бананы в меду, облитые спиртом и подожженные. Ими, этим вкусом ихним, не удастся ли заглушить вопли трех отроков среди раскаленных камней? Я ем и шморгаю носом – от обилия съеденного в носу небольшое расстройство желудка.

...Но есть мой старинный способ, как же я о нем забыл! Вообразить свой банковский счет *one day after*. Хиросима... Финансовая хиросима... Какие там к черту отроки! Давным-давно, задрав штаны, удрали за комсомолом. Так страшно ударило в затылок. Волна, по силе небывалая. Цунами... В банке

хиросима, а в затылок цунами. Сколько раз мне приходилось, выражаясь образно, вопросом *что делать?* побивать вопрос *кто виноват?* Вопросом, точащим сердечно-сосудистую систему, отвлекать массы от вопроса, нацеленного на мой желчный пузырь. Но чтобы *так* заломило в затылке под черт-те какой „гонг-гонг“ в ушах – такого, знаете, я еще не припомню. Правда, перспективы столь полного разорения, какое предстояло мне теперь, я тоже не припомню. Меленько дыша со страху ртом, я вытер платком лоб вместо носа (страх сердечной спазмы). Хватит есть. Они сволочи, эти китайцы. Известно, что китайские пытки самые изощренные в мире.

– Мистер доктор Но, мы еще не говорили с вами о цене.

– И... и... и... (типичный Су-Кинсын.)

– Мистер доктор Но, мы еще не говорили с вами о цене!

Когда я вижу „людскую неправду“, вспыхивает желтая лампочка в моем желчном пузыре. („Людская неправда“ – вопрос *кто виноват?* Малолетний наглец А колотит Б под любознательными взорами В и Г; или недавно по телевизору: левая дура восхищается жизнью на Кубе – не то, что у нас в ФРГ.) Но когда встает вопрос *что делать?* – чтобы как-то еще продержаться, при том, что считать приходится проценты, уже идущие на проценты по банковским задолженностям: купленная квартира, снобская машина, курорты – все ведь в долг! – тогда вспыхивает красная лампочка, где-то в основании черепа, как у скелета в камере ужасов... С включением красной лампочки желтая отключается автоматически, но эта автоматика срабатывает только в одну сторону. Назад в Вавилон пути нет.

– Товарищ Но!..

Он смотрит на меня, понимая, что победил, что я не могу ничего. Даже отказаться. Хотя бы поэтому он уже может все. Например, назвать любую сумму. И называет – любую. Неважно, сколько, я же не могу отказаться. Значит, он ударил меня по рукам.

– Ну, ударили по рукам? С половины одиннадцатого начиная столы будут стоять, накрытые на сто кувертов. Меню составлено. За традиционным эггролом последуют „Семь красавиц“: медуза, тритон...

- Умоляю, не надо...
- Третья перемена, – а она все записывает, – восемь видов копченостей „Семейное счастье“...
- Пощадите...
- Подпишите... И адрес. Счет за спиртное мы представим отдельно.

(продолжение следует)

Леонид Гиринович – писатель и музыкант; родился в СССР, израильтянин с 1971 г., живет в Германии. Автор «22» с его основания (см. в № 68, 69, 70 «Обменные головы» и др.)

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ЗАГАДКИ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ (сборник) 250 стр.

Нерешенные загадки, странные факты и увлекательные гипотезы – таков спектр тем этого первого в своем роде сборника, в центре которого – первый перевод на русский язык знаменитой книги Э. Фрейда «Моисей и монотеизм» и первое на русском языке изложение всемирно-известных книг И. Великовского.

ЕВРЕИ И ЕВРЕЙСТВО (сборник) 180 стр.

Сборник оригинальных (А. Волин, А. Воронель, М. Каганская, И. Рубин и др.) и переводных (М. Бубер, А.-И. Гешель, Э. Фромм, А. Штайнзальц) работ, вскрывающих уникальность и смысл еврейской истории и национального характера.

ГЕМИКРАНИЯ

В белом плаще с кровавым подбоем шаркающей кавалерийской походкой ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Пантелей Филатов.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах фалафеля, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета.

„О боги, боги, за что вы наказываете меня?“

„Да, нет сомнений! Это она, опять она, непобедимая болезнь гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет спасения. Попробую не двигать головой“.

Но головой все же пришлось двинуть, так как к прокураторской лихо подкатила испещренная рекламными регалиями Тойота, и белозубый инспектор осведомился о состоянии дел.

Много проблем было с этим инспектором, враз невзлюбившим прокуратора за близорукость и славянский сплин: „Всегда есть проблемы с этими ашкенази!..“ – возмущался инспектор, вздевая смуглые, перевитые золотыми браслетами руки.

„Я не Ашкенази! Я Филатов!“ – оправдывался прокуратор.

В первый же день инспектор поймал Филатова за чтением книги, отнял ее и вместо нее выдал газету, при этом показал, как должно держать газету в руках, чтобы ни у кого не возникло подозрения в кратковременной потере бдительности прокуратора. Газету с одинаковым эффектом можно было читать и не читать, но думать при этом не воспрещалось.

И прокуратор думал: „Что есть истина?“

Истина – это, прежде всего, хамсин. Разве возможно нести трудовую вахту, когда легкий поворот головы... Да что головы, короткое движение глаз, даже сама мысль причиняет муку. Хотелось прикрыть веки и забыться, но не стоя и даже не сидя, привалившись к спинке и вытянув ноги, а по-человечески, на полу, как это, рассказывают, делают многоопытные и привилегированные прокураторы первой категории.

А сейчас, вступая в утро нового дня, прокуратор ощутил тревогу, и это как-то нехорошо отозвалось в его организме.

Он попытался припомнить, что ему приснилось, надеясь в этом найти причину своей тревоги, но не вспомнил. Не потому, что память плохая, а так как, собственно говоря, сна и не было. Разве можно назвать многократные провалы в сознании и мучительные возвращения к жизни сном? Но чьи-то огромные губы, надвигающиеся на него в жадном поцелуе, с мычанием и чмоком всасывающие его лицо и уши... Ему нечем дышать, ему жарко и мокро, он пробует вырваться, вдохнуть воздух и утереться. Но губы не отпускают его, всасывая глубже и глубже... Что все это означает? Чьи это губы? Образ гас, не возникнув.

„Чего-нибудь сладенького...“ – подумал прокуратор. Он раскрыл дверцу как бы шкафчика. На него пахнуло хлебной прелью, сапожной ваксой и еще чем-то, от чего у него запершило в горле и застучало в виске. Нельзя сказать, чтобы в буфете было пусто, но из всего содержимого съедобным была только соль, перемешанная с крошками и пылью столовая соль № 0.

Филатов лизнул палец, потом окунул его в банку с солью, потом снова лизнул. Настроение не улучшалось.

Он подошел к окну. Там, прижавшись лбом и носом к запотевшему стеклу и часто моргая, он тупо глядел, и ему казалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом случилось что-то странное. Тело ломило от неподвижности, и Филатов сделал несколько взмахов руками и приседаний на месте, так как отходить можно было лишь по нужде и только очень большой.

„И как ведь жизнь пролетела, – думал прокуратор, оперев

локти в колени и обхватив ладонями голову. – Ведь вот еще я бегая босичком по пыльной траве да и с прутиком, и сопельки в носу засахарились, и слюнка с губ пузырится... Не успел оглянуться – вот ты уже и в очередь поставлен. Спереди задница – сзади живот. Все сплошь чернобурки и серые пуховые платки. А то оглянулся, – ты, розоволицый, звонкоголосый, восторженный и ясноглазый, стоишь в очереди за получением. Вот ты уже и в списках фигурируешь, в картотеке, значит, значишься... по принадлежности и для исполнения... А это уже тебя ведут по коридору, от приемной к раздаточной, через санпропускник и за вольер: „Руки за спину! Не оглядываться!“ Ватничек рваный, рукавчики куцые, штаны со штрипками... И совсем ты один, разъединый-одинешенек. И скучно тебе, забыться хочется – ан нельзя: только забылся – и нет тебя. Совсем. Стал-быть, сливай воду...”

Филатов дернул, и вода с шумом низверглась вниз, все сметая на своем пути.

„И пусть! Пускай все летит к черту, – мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные. – Все прошло стороной, не задев и краем. Сколько было бы удовольствий, приятностей, счастливых часов и мгновений... Сколько могло быть друзей, преданных и участливых... Сколько могло быть женщин, девушек, девочек, девчушек... Этих странных, этих загадочных созданий, предназначенных для продолжения рода, но вполне пригодных и на нечто большее... Ах, все прошло вскользь и сквозь, все унеслось прочь и мимо!

Но нет! Было и у меня кое-что-либо-нибудь-таки-ка... Была чудная, такая родная, чуть ли не сестра, чуть ли не мама. И все в ней было такое надежное, основополагающее. Все веяло домовитостью и покоем. Всюду были салфеточки, бумажные розы и решелье... А когда она мыла меня на кухне в оцинкованном тазике, поливая из чайничка на головку... Или же кормила кашкой манненькой из ложечки-фраже... Или баиньки укладывала и сама ложилась рядышком на краешек и гладила своей короткопалой рукой по спинке и по животу... И я забывался у нее на груди, суча ножками и повизгивая...

А сколько недоедено-недопито... Боже, как можно было по-

гурманить, поугодить чреву. И плов, и жаркое, и шашлык – все это вкусно, сытно и полезно для желудка. Черепеховый суп – не едал-с. Фазаньи гребешки с трюфелями под белым соусом. Можно и без соуса, но тоже не едал. И вкусно не поел, и сладко не попил“.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

Пантелей Филатов, пятый прокуратор Иудеи, наместник и продолжатель всего, что вложила в него земля и дух народа. где он вырос и возмужал, брал с собой легкий завтрак-обед-ужин в виде большого ломтя хлеба и нескольких лепестков сыра. Всегда одно и то же. Процесс распределения снеди на три приема был весьма болезнен и являл собой довольно противоречивую философию. Белковый обмен в организме прокуратора время от времени нарушался, от чего дух страдал и томился. Акт поглощения пищи всегда был любим, однако не приносил ожидаемого удовлетворения, а лишь вызывал меланхолию. И дело здесь не в скудости и однообразии рациона, а неизменные сомнения и раскаяния: не обделил ли себя-завтрака в угоду ужину-врагу, или, может, из-за чревоугодия последнего и обед-друг не доедает свое. Или скажем: собрать все три дозы в единый мощный кулак и двинуть его, так сказать... А там будь что будет.

„Сидеть бы теперь в крохотном ресторанчике, чтоб фикус и алоэ, чтобы попугай или кенарь в клетке, чтоб официант, а не официантка, музыки не надо, музыка в душе, пища на блюде, такая съедобина в образе громадного кусища мяса... А что еще? Фарфор, хрусталь, мельхиор? Зачем?“

„Ненавистный город“, – вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их.

„Хорошо бы собаку купить... А когда издохнет, набить чучело – и на консоль дорических форм... Бабочек изымать из воздуха, гербарии классифицировать, каменички, опять же, по форме и содержанию. Или же чем плохо: познакомиться с интересным

человеком, обменяться целым рядом конструктивных предложений по целому ряду животрепещущих вопросов, а затем церемонно распрощаться и больше не видаться никогда...

Или вот еще лучше! Скажем, сижу я в лонгшезе, в розарии, в зеленой трущобе... И молоденькая такая, нерасторопная еще... Личико ангельски чистое, херувимски честное, глаза с поволокой, роток с позевотой и, как водится, ноги... Боже! Какие ноги! Ка-ки-е-но-ги! Колонны белая, мрамор и алебастр, яхонт и хризолит... Ну ладно... А когда шнурочек нагнулась завязывать, чтоб складочками под коленками и чуть повыше... Естественно грудь – четвертый номер, мой любимый с детства. И матовая впадинка на локотке, и глянцевиная под мышкой, когда прическу поправляет. Или если б она стала подниматься по лестнице своей воздушной походкой, и бретелечки, и резиночки, и пуговички под платицем так рельефно, так ощутимо и значимо, и если присесть ненароком, то можно на повороте разглядеть кое-что и получше, посущественней... А если и прыщик где не на месте или запашок несвежий изо рта, или еще что – это даже хорошо, это определенно лучше, что вот с изъянцем, с червоточинкой. Это как-то сильнее забирает: совершенство, а с гнильцой, перфект, а с тухлинкой... Или взять пальчики: они хоть и ничто, а представить, в какие тайные места они наведываются, то и..."

Филатов заходил-забегал, суетливо посматривая по сторонам, судорожно шаря по телу руками, не ведая, куда их девать.

„Ну как же так? Что же это такое? Что же теперь? Я ведь так долго не могу! Мне надо утешиться, самоурезониться, облегчиться, наконец..."

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них. Филатов выскочил из прокураторской. Его тотчас плотным кольцом окружили мальчишки. Они высыпали из всех дверей сразу, все одинаковые как пингвинчики, разглядывая в упор, синхронно ковыряя в носу и оскаливая умные зубы. Пару раз Филатов пытался с ними заговаривать, но они переглядывались, видимо, не понимая прокуратора либо не желая его понять. А однажды, дело было вечером в пятницу, настроение было послушать Мендельсона, мерно раскачиваясь

вперед и назад, помовая ручкой с прищелком, притоптывая ножкой. Первый снаряд ударил мягко и ненавязчиво, второй срикошетил, забрызгав апельсиновым соком, третий и последующие были совсем неточны, но не оставили сомнений в недоброжелательности ко всякого рода прокураторам Иудеи, нарушающим святость царицы-субботы.

Филатов ретировался в прокураторскую. Почему-то он вспомнил, чем пахло давеча в шкафчике, и включил кипятильник. Вода в банке наполнилась пузырьками, они весело, толкаясь и перегоняя друг друга, запрыгали вверх. Зрелище закипающей воды было одним из немногих жизненных радостей в трудной прокураторской судьбе.

„Годы-то какие были окаянные, люди всеравношные, слова конвульсивные, смерть скоропостиженные, очередь миллионные, плечи фальшивые, глаза иллюзорные... Что ни парикмахерская, то пыточная, что ни цирюльник, то корнифекс. Ну, как было не озлобиться, не опуститься...“

Все в прошлом. Как это говаривали в старину? Хороша старина, но да бог с ней! Научиться что ли искусству составлять букеты: вот розмарин, это для воспоминания; прошу вас, милый, помните; а вот трицын цвет, это для дум...

А сколько было книг! Нет, вы только представьте, как много, и все разные, неповторимые по своей сути. И корешки и крышки... Вот берлинская лазурь, есть индиго и охра, есть белый налив и иудейский желтоцвет... Я без намека! Только взгляните на эту причудливую мозаику, изысканнейшую арабеску... Пусть и с противоположной стороны не поймут меня превратно...

А сколько у меня было вещей, редкостные, изощренные штучки. Очень радостно было их держать в руках, гладить гляцевитые грани, перекатывать округлости, меняя их местоположения: сегодня так, а завтра иначе. Вещи – они в себе, они обладают единством и противоположностью, если вы, конечно, не находитесь с ними в конфликте. Собственно, если быть откровенным до конца...“

Филатов высунул нос из прокураторской. В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, пло-

щадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и – самое главное... У нас в Ленинграде тоже было солнце, но здесь это просто безобразие! Филатов задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг...

„О, какой страшный месяц нисан в этом году!“

Сменщиком у Филатова был гордый эфиоп, всегда опаздывавший на несколько минут, но не прощавший опозданий Филатову. Он был высок и худ, голову держал надменно и никогда ни о чем не спрашивал. Он царственно вносил себя в прокураторскую, придирчиво оглядывал инвентарь, раздраженно и со стуком переставлял стул на ему как бы предназначенное место. Он демонстративно распахивал окно и начинал подметать пол, как бы очищая прокураторскую от филатовского духа и праха.

Однажды, придя на смену, Филатов застал эфиопа спящим с открытыми глазами и ртом, в который вползала и выползала муха. Филатов, как следовало ему, заступил на вахту, расписавшись в листе присутствия, а темнокожий коллега его, проспав еще час, внезапно вскочил, дико озираясь, и высокомерно удалился. Но перед тем проставил в листе время окончания своей смены согласно времени своего пробуждения ото сна, тем самым создалась конфликтная ситуация и было разбирательство.

Когда случалось дежурить в ночь, Филатов выходил на пропахший за день фалафелем сизый воздух, неотрывно глядел на гипертрофированную лунную фазу, делал десяток, а то и больше шагов туда и обратно. Он напрягал измученную нескончаемой вереницей образов и сцен прежней жизни память, силясь вспомнить слова песен детских лет и юности, и громко пел, заглушая издевательский вой шакалов и швейномашинный стрекот цикад: „Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры, дети рабочих...“

Слезы текли по щекам и хотелось папироски. Душевную боль можно было унять, выпив чего-нибудь, и Филатов возвращался в прокураторскую, кипятил воду и делал противный растворимый кофе. Он клал перед собой лист бумаги, на котором уже давно

было написано: „Здравствуйте, мои дорогие!“ Писать было не о чем.

„Цилечка, Маечка, Ирочка, Эфраимке, Захарушка, Мордехайчик! Что бы я делал без вас, и что вы все без меня?“ – Прокуратор включил радио – радио молчало. – „Батарейки!..“ – он изверг нецензурность... Шепотком... А затем натуженно и злобно, напрягая яремную жилу, матерно проорал по-арамейски. Две батарейки – часа два ненавистой, отупляющей, сводящей с ума работы.

„Так что наслаждайся тишиной, сын короля-звездочета, действительный и неременный член, исполнительный референт и неукоснительный соавтор, случайно набредший на провокативную книжонку, населенную чертовщиной и святостью, здешней и тамошней... Эх, тамошняя жизнь! Конфетки-бараночки, прощай, лазурь преображенская, где вы, кони залетные...“

Прокуратор горестно сербнул носом, в животе у него глухо укнуло и тоненько пропискнуло в кишечнике.

Дверь приоткрылась, и в прокураторскую вошел кентурион Крысобоев с метлой в руке. Он был настолько широк в плечах, что совершенно заслонил собой еще невысокое солнце.

„Пивка принес на опохмелку, теплого, – просипел он гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова, – пока так, а в одиннадцатый открывается – я слетаю. Гони пять шкалей...“

Было около десяти часов утра.

Юрий Клятис – кинорежиссер и фотограф, в Израиле с 1988 г.

Нина Воронель

ПОКУШЕНИЕ В ПОЛДЕНЬ
(монодрама в пяти днях)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

На площадку перед официального вида зданием выходит ЛЕОН с большой сумкой на плече. Он слепой, в темных очках, в одной руке у него палка, которой он щупает дорогу, в другой – поводок: с ним собака по кличке ДОГГИ.

ЛЕОН довольно молод, не более 35.

ЛЕОН: Ну вот, Догги, мы прекрасно дошли до суда, а ты сомневался. И вовремя. Даже раньше, чем я предполагал. Ну и отлично! Слышишь, как тихо? Автобусы только начинают ходить, людей вокруг еще нет. Я специально привел тебя сюда пораньше, чтобы выбрать местечко поуютней, пока все еще спят. Хорошо бы, чтобы было и в тени, и недалеко от двери.

ЛЕОН с ДОГГИ обходят площадку в поисках места. Несколько раз собака садится, давая понять, что здесь – хорошее место, но ЛЕОН не соглашается, говоря: «Нет, здесь слишком жарко» или «Нет, нет, это далеко от входа». Если ЛЕОН находит место и хочет сесть, ДОГГИ лает сердито, заявляя о своем несогласии.

Наконец, ЛЕОН устраивается на ступеньках, ведущих к парадному подъезду: он вынимает из сумки маленькую подушку и садится на нее.

ЛЕОН: Чудно, здесь нам будет хорошо. Ты ложись тут, у моих ног, морду на лапы, чуть-чуть набок, так, еще немного (*поправ-*

ляет голову собаки), взгляд на меня, дыши чаще (показывает) вот так: Хах-хах! Хах-хах! Теперь хорошо! Я думаю, картина получается впечатляющая: бедный слепой с верной собакой. (обращаясь к воображаемому прохожим) Подайте милостыню бедному слепому! Господи, а вазочка где? (ДОГГИ) Где вазочка, я спрашиваю? (лихорадочно роется в сумке, вываливая на ступеньки ее содержимое) Неужели я ее забыл? Так долго выбирал и вдруг забыл? Не может быть! Вчера вечером в отеле я достал ее из чемодана, это точно. И положил в сумку... Ну, конечно, вот она! Из этой вазочки Томми всегда ел мороженое. Ты, наверно, хочешь сказать, что тебе противна моя склонность к сентиментальной символичке? Что ж, я с тобой готов согласиться. Но мы ведь работаем на публику. А публика сам знаешь кто. Ну порепетируем, проверим, на что мы способны? (протягивая вазочку воображаемому прохожим) Подайте милостыню бедному слепому! Слушай, Догги, тебе не кажется, что это слишком длинно? Попробуем иначе: Помогите бедному слепому! Правда, так лучше, Догги? Любое сердце дрогнет, даже самое жестокое. А нам надо растрогать очень жестокое сердце, может быть, самое жестокое в мире. (прислушивается к приближающимся шагам) Внимание! Сюда идет пожилая дама, сейчас мы проверим, на что мы способны! (встает и молча протягивает тарелку навстречу шагам, которые постепенно удаляются) Ну вот, ничего не вышло. Не сердись, Догги, я не виноват: у меня слова просто застряли в горле. Ничего, вон опять кто-то идет, попробуем снова. (протягивает вазочку навстречу приближающимся шагам, бормочет сдавленным голосом) Слепой я... пожалуйста, слепому!

(раздается звон упавшей монеты, шаги удаляются)

ЛЕОН: (вертя монету в руке) Ну вот, первая монетка! Не то. чтобы очень большая, зато первая! Значит, я выгляжу достаточно убедительно! В этой монетке я просверлю дырочку и повешу тебе на ошейник. Если останусь жив, конечно. (хватает ДОГГИ за передние лапы и напевает, кружась с ним в некоем подобии вальса) Если останусь жив. Если останусь жив!

(ДОГГИ вырывается и сердито лает)

ЛЕОН: Ты прав, как всегда, Догги. Мы пришли сюда не для

того, чтобы танцевать. Мы пришли сюда совсем для другого дела.

(слышен бой часов и тут же возникает многоголосый шум большого города – гудки и рокот машин, топот ног, цокот женских каблучков, голоса)

ЛЕОН: Ну вот и дождались. Сейчас суд откроется и сюда повалят народ. Вон идут! Истцы и ответчики, обвинители и обвиняемые, прокуроры и адвокаты, слышишь, какая толпа? Теперь только не зевать и протягивать нашу заветную вазочку... из нее Томми всегда ел мороженое. *(протягивая вазочку)* Помогите бедному слепому! Подайте милостыню слепому! Помогите бедному слепому!

(слышен звон падающих в вазочку монет)

ЛЕОН: *(выбирая деньги из вазочки в карман)* Вот видишь, сколько денег! А ты во мне усомнился. Сознайся, ведь ты решил, что я трус, правда? Честно говоря, я сперва струсил, но потом сообразил, что никто нас в этом городе не может узнать – ведь мы ни с кем тут не знакомы. А раз так, значит, нечего бояться – пора приниматься за работу. *(идет вперед, протягивая перед собой вазочку)* Помогите бедному слепому! Помогите бедному слепому! Помогите бедному слепому!

(слышен звон падающих в вазочку монет)

ЛЕОН: *(садится на ступеньку, выбирая деньги из вазочки в карман)* Видишь, опять полно денег накидали – значит, я в полном порядке. А деньги, между прочим, будут нам очень кстати – ты даже не представляешь, сколько пришлось заплатить за этот проклятый отель. И все из-за тебя: в дешевые отели с собаками не пускают. *(вскакивает)* Внимание! Мы дождались своего часа! Вон идет Пиявка *(суетится)* Готовься, Догги, голову повыше, хвост распуши и пошли! И нечего бояться – он даже не подозревает о нашем существовании. Я готов: поводок в одной руке, вазочка в другой – и полный вперед! *(тащит ДОГГИ и идет, протягивая перед собой вазочку)* Подайте бедному... *(обрывает свой крик на полуслове и замирает на месте)* это не он, Догги,

совсем не он! Как я мог ошибиться? Я ведь знаю его гнусную рожу лучше, чем свою собственную! Каждый раз, как его показывали по телевизору, я записывал программу на видео и просматривал ее сотни раз. Я изучил все его гримасы, все жесты. И вот, пожалуйста, спутал его с другим! Ведь так можно невзначай прикончить ни в чем не повинного человека.

(слышен звон падающих в вазочку монет)

ЛЕОН: Надо же, я его чуть не прикончил, а он насыпал мне целую пригоршню! О Боже, вот он, наш Пиявка! Совсем близко, я его чуть не пропустил! *(роняет вазочку и опускается на колени, шаря руками по земле)* Его, оказывается, так легко узнать, – он окружен телохранителями, как пирог мухами. *(поднимает вазочку и ползает на коленях, шаря руками по земле в поисках упавших монет)* Ты думаешь, я опять струсил, да, Догги? Ты считаешь, что мне пора подняться и пойти ему навстречу? Что ж, ты прав. Черт с ними, с этими грошами, – пошли! *(поднимается и, протягивая вазочку, делает шаг вперед)* Подайте! Помогите, я слепой! Помогите мне! *(отступает)* Воистину, Пиявка! Прошел, даже не взглянул. И напрасно. В ожидании приговора человек должен раздавать милостыню направо и налево! Я б на его месте просто сорил деньгами. Впрочем, злые языки говорят, что он так и делает – только вместо милостыни он дает взятки. Это куда практичней. Ну, и черт с ним, нам его проклятые деньги не нужны. Догги, мы просто хотим, чтобы его телохранители привыкли к нашему присутствию. Ты заметил, как они ошетинились, когда я протянул к ним руку с вазочкой? Явно уже приготовились выхватить пистолеты? Я так и думал, что сразу мне это не удастся. Они бы все равно не дали мне выстрелить. Он за это им деньги платит. Значит, я правильно рассчитал – мне нужно время. Я должен сидеть тут каждый день, пока идет процесс. Я должен им так примелькаться, чтобы они воспринимали меня, как назойливую муху. Она неопасна, она только жужжит, жужжит, жужжит свое: Помогите бедному слепому! Помогите бедному слепому!

(слышен звон падающих в вазочку монет)

ЛЕОН: К счастью, другие люди все еще подают бедному слепому

му. Небось у них не хватает денег на взятки и они надеются, что сделка с Богом обойдется им дешевле. Они все еще надеются! И только нам с тобой не на что больше надеяться, Догги! И никого у нас нет. Нет больше Томми, нет больше Лиоры! У нас есть только Пиявка. Он – это все, что у нас осталось в подлунном мире. Так что мы не можем покинуть этот мир без него!

ДЕНЬ ВТОРОЙ

ЛЕОН с ДОГГИ выходят на площадку. ЛЕОН вынимает из сумки подушку и устраивается на ступеньках, ведущих к парадному подъезду.

ЛЕОН: Сегодня мы пришли слишком рано, и все из-за тебя. Сколько раз я повторял тебе, что в отеле нельзя выть? А тебе хоть говори, хоть не говори! Я ведь тоже тоскую по Томми, но не позволяю себе выть ни свет ни заря, чтобы нас отовсюду выгоняли. *(глядит ДОГГИ)* Глупый ты пес, ты так и не понял, что Томми больше никогда не придет. Он умер, понимаешь? – умер! Томми умер, и Лиора умерла, только мы с тобой остались... пока... *(обнимает ДОГГИ)* Я вдруг понял, зачем люди заводят собак. Собачья жизнь короче человеческой, – каждый раз, хороня собаку, человек потихоньку привыкает к мысли о смерти. Но у нас с тобой так не выйдет – тебе предстоит пережить нас всех... *(вскакивает)* О Боже, вот он идет! Почему так рано, ведь я совершенно не готов. *(роется в сумке)* Скорей, где моя вазочка? *(бросает сумку)* Ладно, сегодня будет без вазочки! Пошли, Догги! *(делает шаг вперед, протягивает руку)* Подайте слепому! Каждая монета падает на весы справедливости! *(сжимает ладонь в кулак, словно в нее упало несколько монет)* Спасибо, добрый господин! Или добрая госпожа? Наверно, госпожа – только женщина способна на такую щедрость! *(садится, обнимает Догги и шепчет)* Ты понял, Догги, он нас заметил! Он дал деньги своему телохранителю, чтобы тот бросил их бедному слепому! Скоро они все к нам привыкнут, так что мы сможем подойти к нему вплотную. И тогда останется только выхватить пистолет и пах! пах! пах! Ты был бы потрясен, Догги, если бы узнал, как замечательно я стреляю. Я здорово научился с тех пор, как Томми

умер и я понял, что ничего не поможет и Лиора тоже умрет. Проблема только в том, что я никогда не стрелял по живой мишени. Вот до чего я дошел: называю человека живой мишенью! Но ведь это не всякого человека, а только Пиявку. Ладно, вон народ повалил, пора приниматься за дело (*достает из сумки вазочку*). Раз ОН уже прошел, можно не надрываться, а сидеть спокойно: те, кому нужно задобрить судьбу, и так подадут. Я надеюсь, таких наберется достаточно, чтобы оплатить твой утренний скандал. Да не оскудеет рука дающего!

(слышен звон падающих в вазочку монет)

ЛЕОН: Ну вот, я был прав, на нас посыпались деньги. (*выбирая монеты из вазочки*) Надо их забирать время от времени, чтобы прохожие не думали, что мы слишком богаты. (*вскакивает*) Клянусь, Догги, это Мари! Вон, видишь, вышла из автобуса? Ну, конечно, ты видишь – ты уже радостно машешь хвостом! А ты подумал, что будет, если она нас разоблачит? Точно, это она! Есть шанс, что меня она в этом виде не узнает, но ты-то ведь сам помчишься ей навстречу. (*ДОГГИ рвет поводок, стремясь кому-то навстречу*) Стой, Догги, стой, не тащи меня! Нам надо совсем в другую сторону! (*поспешно собирает сумку и тащит упирающегося ДОГГИ в противоположную сторону*) Я знаю, что ты любишь Мари, – ведь она принесла тебя в наш дом. Ты был совсем крошечный, круглый, как мяч. Томми тоже был крошечный и круглый, и вы сразу покатались вместе, как два мяча: белый и красный.

(они приходят к каменному заборчику, ЛЕОН садится, чтобы перевести дух)

ЛЕОН: Ты пойми, если бы Мари нас узнала, она бы испортила нам все дело! Тем более, что она меня недолюбливает: я ведь сперва ухаживал за ней, а потом переметнулся к Лиоре. Не то, чтобы она очень мной дорожила, в поклонниках у нее недостатка не было – она считалась самой красивой девушкой у нас на факультете и было почетно состоять в ее свите. Но то, что я предпочел ей ее старшую сестру – совсем не такую красавицу и покорительницу сердец, как она, – этого она мне простить не могла. Тем более, что ее семейная жизнь так и не заладилась.

Даже странно – такая красавица, такая умница, но мужья почему-то больше года при ней не удерживались. Сколько их было – не помню точно, но все разбежались – кто по своей воле, кого выпихивали колёнкой под зад. И сейчас, по-моему, никого постоянного у нее нет. А уж переменного – тем более, при ее-то страхе! *(поднимается со скамьи)* Ладно, Догги, пошли назад – она наверняка уже прошла. Только теперь надо все время быть на страже, чтобы не попасться ей на глаза. *(идет, ведя ДОГГИ на поводке)* А может, это глупо, и проще все ей рассказать? Ведь она теперь до конца процесса будет каждый день сюда ходить – зачем ей иначе было приезжать в такую даль? Сделать это, конечно, надо осторожно – подойти к ней где-то в переулке, не у всех на глазах. *(останавливается)* Нет, Догги, боюсь ничего хорошего из этого не выйдет. Представь себе, что ты – Мари. Навстречу тебе идет слепой с собакой. Собака эта до ужаса похожа на Догги, но этого не может быть – как мог Догги оказаться в чужой стране, за тридевять земель от родного дома? Да еще с каким-то слепым нищим! Однако собака радостно машет хвостом, мчится к тебе и начинает лизать тебе руки. Значит, это действительно Догги, – но с кем он, как он сюда попал? Слепой подходит, осторожно нащупывая палкой дорогу. Пока ты вопросительно вглядываешься в его лицо, он тихо говорит на твоём родном языке:

– Здравствуй, Мари!

И ты ахаешь:

– Леон? Ты тоже приехал на процесс? Но ведь ты же был в больнице? И почему ты не сказал мне, что ты собираешься ехать?

– Но ведь и ты мне не сказала....

– Это правда. С тех пор, как на нас свалилось это горе, мы все научились держать язык за зубами.. Но почему ты притворяешься слепым?

– Я прошу милостыню у входа в суд.

– Ты – милостыню? О Боже! Я ведь не знала, что ты так... Ты бы мог мне сказать, я бы что-нибудь придумала... где-нибудь достала....

Как бы я мог ей сказать? Разве что по телефону. Ведь с тех пор, как у Томми обнаружилась эта болезнь, а потом и у Лиоры, она так испугалась, что ни разу к нам не зашла. Да и сейчас при встрече она бы думала только о том, как бы ей не дышать в

мою сторону. Что я могу объяснить человеку, который только и думает, как бы побыстрее от меня убежать? Нет, не стоит к ней подходить. Лучше не попадаться ей на глаза. Ты понял, Догги? Ты не должен попадаться ей на глаза. *(берет морду ДОГГИ в ладони)* Не попадаться ей на глаза!

ДОГГИ машет хвостом и трется об ногу ЛЕОНА.

ЛЕОН: Ни черта ты не понял! Что же с тобой, дурнем, делать? Придется завтра запереть тебя в номере и прийти без тебя. Господи, какая нелегкая принесла ее сюда? Надо же, какая неудача!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Откуда-то сверху доносится надрывный собачий вой. ЛЕОН, запыхавшись, бежит вверх по лестнице навстречу вою, в руке у него ключ. Он подбегает к двери и пытается отпереть ее, руки у него дрожат, ключ не поворачивается в скважине.

Собачий вой усиливается и достигает невыносимых частот.

Наконец, ЛЕОН отпирает дверь, ему на грудь с визгом бросается ДОГГИ.

ЛЕОН: Ну, натворил ты тут делов, брат! Ну, натворил! Как теперь расхлебать эту кашу, ума не приложу. Хозяйка внизу орет и требует, чтобы мы немедленно отсюда выбирались. А куда прикажешь выбираться, если с тобой никто нас не хочет впустить?

ДОГГИ скулит и лижет ЛЕОНУ руки.

Ладно, пойдём попробуем ее уговорить.

ЛЕОН надевает на ДОГГИ ошейник и выводит его за дверь. Некоторое время сцена пуста, затем они возвращаются, в руке у ЛЕОНА пластиковый пакет. Он снимает с ДОГГИ ошейник и вынимает из пакета большие ножницы, бритву и тюбик с краской для волос.

ЛЕОН: Все-таки мы ее уговорили. Ты был такой милашка, а я

был так полон раскаяния, что она нас не выгнала. При условии, что я никогда не буду оставлять тебя одного. *(берет ножницы и садится на пол рядом с ДОГГИ)* Ты, конечно, понимаешь, что это значит? *(Осторожно берет двумя пальцами прядь шерсти ДОГГИ и быстро отстригает ее, ДОГГИ рвется из его рук, но ЛЕОН держит его крепко и ласково уговаривает, быстро отстригая при этом прядь за прядью)* Тише, голубчик, тише, не надо так рваться, ведь мы договорились, правда? Ведь ты хочешь завтра пойти со мной, правда? Иначе мне придется отдать тебя в убежище для собак. Ведь ты не хочешь в убежище для собак? Ведь там никто не будет тебя любить.

ДОГГИ постепенно затихает и покорно дает себя стричь.

Вот теперь ты умница и я смогу взять тебя с собой. Ты сможешь опять сидеть со мной на ступеньках суда – я тебя еще немножечко подкрашу и Мари ни за что тебя узнает. Она сегодня четыре раза прошла мимо меня, а один раз даже подошла и бросила монетку в вазочку. У меня просто сердце остановилось – вот сейчас узнает, ведь Томми всегда ел из этой вазочки мороженого. Но она не обратила никакого внимания ни на меня, ни на вазочку, хоть я уставился на нее как кролик на удава. Ты не поверишь, но я просто не мог оторвать от нее взгляд. Знал, что рискую, и все равно не мог. Ведь я так давно ее не видел, с похорон Лиоры. Она тогда даже не подошла ко мне, только кивнула издали. Ей, наверно, казалось, что, если я на нее дохну, она тут же заразится. А сейчас она подошла совсем близко и бросила монетку в вазочку, из которой Томми ел мороженое. Так что я мог хорошо ее разглядеть. Она здорово подурнела, вся как-то ссохлась и пожелтела, хоть одета шикарно, во все фирменное и дорогое. Что ж, деньги у нее есть – красота не помешала ей стать успешным адвокатом. Она и в деле нашего с тобой клиента разобралась отлично – мы с ней многократно обсудили это дело во всех деталях. По телефону, конечно. Она постепенно привыкла к мысли, что СПИД по телефону не передается, и начала часто мне звонить, то спросить про тебя, то посоветоваться. Я ведь тоже был когда-то неплохой адвокат. Мы разыграли все возможные сценарии этого процесса и пришли к выводу, что Пиявка отделается штрафом и условным заключением. Штраф будет большой, и лицензию на владение

банком крови он потеряет, но жизнь сохранит. И жить будет неплохо, потому что он хорошо насосался раньше. Ты мне не веришь? Ты считаешь, что человек, повинный в смерти сотен людей, должен быть приговорен к смертной казни? Я тоже так считаю. Но закон считает иначе. Ведь он никого из этих людей не убил собственной рукой. Он всего лишь не слишком быстро внедрил в своем банке крови эффективную методику анализа образцов на СПИД. А пока не внедрил, продолжал сосать кровь, обрабатывать и продавать больницам. Не мог же он остановить столь важный процесс? Его адвокаты доказывают, что дело вовсе не в прибылях, а в гуманизме – Пиявка сосал кровь для спасения многих жизней. И самое смешное, что это правда. Перелитая кровь спасла сотни тысяч жизней – что рядом с ними несколько сотен погибших от СПИДа, даже если среди них Лиора и Томми?

(любуется результатом стрижки, подравнивая стриженную шерсть ДОГГИ то тут, то там)

Оказывается, в тебе кроме шерсти почти ничего не было, Догги. Теперь ты стал совсем маленький, тебя можно носить в сумке. Так, а сейчас потерпи еще немного – я тебя чуть подкрашу. *(выдавливает из тюбика краску на шерсть ДОГГИ, заворачивает его в пластиковую скатерть и берет его на руки)* Пятнадцать минут и ты станешь неузнаваем. А пока посиди у меня на руках, вот так, – тебе ведь это приятно, правда? *(укачивает ДОГГИ на руках)* Я мог бы выступить свидетелем обвинения на процессе – представь, их прокурор нашел меня по регистрации Томми в госпитале. Они нашли всех счастливых, которым перелили кровь из той проклятой порции. Как мы умудрились среди них оказаться? Жуткое сцепление случайностей, понимаешь? Сначала мы собирались ехать в Италию, но Лиоре пришлось отложить отпуск на неделю. Мы отменили билеты, но на следующей неделе мест на Рим не было и мы решили лететь в Амстердам, а там взять машину и ехать на юг – куда доедем, туда доедем. А по дороге у Томми вдруг началась рвота и дикие боли в животе, мы прямо голову потеряли от страха. Помчались в больницу, у него оказался острый аппендицит, ему срочно сделали операцию – спасли от смерти, так сказать. И перелили кровь. Всего-навсего перелили кровь! Акт чистого гуманизма – даже денег не взяли. И все – на этом все кончилось, вся жизнь.

Если бы мы знали, если бы мы подозревали об опасности, мы могли бы... Конечно, Томми мы бы уже не спасли, но Лиору, Лиору! Ее еще можно было, можно было... Потом я нашел в своей памяти тот роковой случай. Как странно он там отпечатался – во всех деталях, как на киноленте. Был жаркий день и под вечер мы поехали к морю. Море было на редкость тихое – ведь летом оно обычно шумит, беснуется, а тут, как назло, было гладкое, как стекло. И мы позволили Томми плескаться у берега без надзора. Он ползал на коленях у края воды и строил замысловатый замок из мокрого песка. Вдруг он вскрикнул и, хромя, заковылял к нам, оставляя на песке кровавый след. Лиора вскочила и бросилась ему навстречу. Оказалось, что осколок большой ракушки вонзился ему в пятку – у него были такие нежные розовые пяточки. Лиора ничего не делала в полсилы: если она пугалась, то сразу впадала в панику, если спасала кого-то – то ценой собственной жизни. Она схватила Томми за руки, выдернула из его пятки залитую кровью ракушку и присосалась к ранке губами. Я тогда еще не знал, что это была последняя счастливая минута нашей жизни.

(Стоит, укачивая ДОГГИ на руках, как маленького ребенка)

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Ночь. Комната в отеле. ЛЕОН лежит на кровати, рядом с ним спит ДОГГИ.

ЛЕОН: Господи, ну дай заснуть, дай заснуть, дай заснуть! Ведь я прошу не так много – всего несколько часов сна. Я не прошу невозможного – продлить мне жизнь или вернуть Лиору, правда? Почему же так сурово? За что? Ты хочешь, чтобы я покаялся, да? Да, я в тебя не верю! Теперь ты доволен? Я честно сознался – теперь ты дашь мне заснуть? Мне с детства внушали, что честность для тебя главное. На хрена она тебе сдалась, не знаю: ведь по слухам ты все знаешь и так. Наверно, чтобы убедиться в своей власти, которая и так несомненна. Нелогично, конечно, но ведь ты не обязан быть логичным. Ты вообще ничего никому не обязан. Но, говорят, ты бываешь милосерден в мелочах, если тебя хорошо попросить. Так вот – я тебя **ОЧЕНЬ** прошу: Великий и Милосердный, позволь мне пару часов поспать.

(гасит свет, натягивает на голову одеяло и некоторое время лежит, закрыв глаза ладонью. Начинает лихорадочно чесаться)
О черт, не то что спать, даже лежать спокойно не могу! *(зажигает свет)* Значит, моего первого покаяния тебе мало, ты хочешь еще? Хорошо, получай еще одно – мне терять нечего: ведь обмануть тебя все равно не удастся, ты все мои грехи знаешь даже лучше, чем я сам! Ты хочешь услышать, почему я решил убить Пиявку, хоть ты велел „не убий!“? Потому что я должен искупить свою вину перед Лиорой за тот страшный год. Сам не понимаю, какая муха тогда меня укусила. Я ее ненавидел, просто ненавидел. Как я мог? Может, ты мне это объяснишь, ты ведь знаешь решение всех задач. Меня мутило, когда она начинала иступленно раздирать свою кожу ногтями и голова ее каталась по подушке направо-налево, направо-налево. Я стриг ей ногти каждый день, но она все равно умудрялась расцарапать себя до крови. Она уже не вставала, не ела, не разговаривала, но все не умирала, А я так хотел, чтобы она скорей умерла. Когда она закрывала глаза и затихала, я не мог сдержаться – я подходил и трогал ее, чтобы проверить, жива ли она еще. А она все понимала, она открывала глаза и шептала – голос у нее к концу совсем пропал – „Пока еще нет. Потерпи, уже недолго“. И я чувствовал, что она тоже меня ненавидит. Мне иногда казалось, что она нарочно цепляется за жизнь, чтобы досадить мне. За то, что я жажду ее смерти, За то, что у меня болезнь развивается так медленно, а у нее так быстро. И не знаю еще за что. И даже на похоронах, где все плакали, но никто не подошел пожать мне руку, я радовался, что избавился от нее. И только когда я вернулся в пустую квартиру, у меня вдруг прошло помрачение и я все понял. Я вроде как бы надеялся, что если той страшной, покрытой струпьями Лиоры не станет, вернется моя прежняя Лиора, Только не спрашивай у меня, как я мог на это надеяться. Ведь я всегда был реалистом. А вот я хочу спросить тебя, как ты сумел мне такую глупость внушить? Выходит, что мы квиты. Так что оставь меня в покое, я хочу спать!

(снова гасит свет, натягивает на голову одеяло и некоторое время лежит, закрыв глаза ладонью. Потом начинает лихорадочно чесаться, вскакивает и зажигает свет)

Я вижу, Великий и Милосердный, что мне не удалось тебя убедить. Не удалось, правда? И ты наказываешь меня за то, что я решил нарушить твою заповедь. Да, я хочу убить Пиявку! Я хочу, чтобы сердце его остановилось и перестало качать его кровь, хочу, чтобы он перестал думать и дышать. Я всегда был против смертной казни, а сегодня я сам вынес приговор и сам готов быть палачом. Ясно? Можешь не давать мне спать, я обойдусь! И не думай, что меня мучает совесть. Меня мучает только страх, что у меня рука дрогнет и я не успею выхватить пистолет до того, как Пиявкины охранники меня прикончат. Но это напрасный страх – я делаю это отлично. Не веришь? Что ж, можешь убедиться – сейчас я тебе покажу свое искусство!

ЛЕОН вынимает из чемодана завернутый в белье пистолет, надевает через плечо заранее приготовленную нейлоновую кобуру на ремне, поверх которой надевает пиджак и начинает тренировку по стремительному выхватыванию пистолета из-под пиджака. Затем тормозит ДОГГИ, который совершенно преобразился – из большого мохнатого рыжего породистого пса он превратился в гладкую, маленькую, пятнистую дворняжку.

ЛЕОН: Хватит, Догги, просыпайся. Это не по-товарищески – спать так сладко, когда я глаз не могу сомкнуть. *(ДОГГИ просыпается и лижет лицо ЛЕОНА)* Ты мой дорогой Собакин, ты один не боишься заразиться. Мне нужно твое одобрение. Посмотри, как я буду делать это завтра. *(несколько раз подряд выхватывает пистолет и целится)* Как по-твоему, ничего у меня получается? *(выхватывает пистолет и целится)* Неплохо, да? Как ты думаешь, кто кого успеет раньше прикончить – я его или они – меня?

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

1. Утро

На пороге здания суда ЛЕОН с трудом удерживает ДОГГИ, который с лаем пытается бежать за кем-то, прошедшим по лестнице вверх.

ЛЕОН: Ну, хватит, Догги, прекрати. Ее уже нет, она уже вошла внутрь. И напрасно ты визжал и прыгал на нее. Она, бедняжка, никак не могла понять, чего ты к ней привязался. Если бы ты посмотрел на себя в зеркало, ты бы сообразил, что узнать тебя невозможно. А вот меня она сегодня отличила. Угомонись и иди сюда – я тебе что-то покажу.

ДОГГИ постепенно утихает и дает ЛЕОНУ возможность сесть на свою подушку на ступеньках. Усевшись, ЛЕОН обнимает ДОГГИ, разжимает кулак и показывает ему горсть монет.

ЛЕОН: Это все она мне положила прямо в руку. Я еще не считал, но вижу – тут полно денег. Мне даже на миг показалось, что она меня узнала. Иначе – как объяснить ее щедрость – она ведь не из тех, что швыряют деньги на ветер. Тем более что она всегда терпеть не могла нищих. Говорила, что они просто бездельники, не желающие работать. Вот Лиора – та всегда норовила найти какого-нибудь бедолагу, чтобы ему служить. Сколько мы ссорились из-за ее подопечных! Среди них были кошки, собаки, птицы. Однажды она привела домой полоумную старуху, которая попросила перевести ее через дорогу, а потом вцепилась в Лиору и не хотела ее отпускать. Эта старуха прожила у нас несколько дней, я чуть с ума не сошел от ее разговоров. Пока Мари не вмешалась – она привезла социального работника, который нашел старухину дочь, Та не пришла в восторг, но все же приехала и забрала свою мамашу. Лиора еще долго потом ездила навещать эту старуху в дом престарелых. По секрету от Мари, конечно. Она всегда побаивалась Мари – та была всегда такая умная, практичная, правильная, полная противоположность Лиоре. Но сегодня мне вдруг показалось, что Мари стала похожа на Лиору – нелепая идея, я сам понимаю: ведь у них не было ни одной общей черты. Как у двух собак разных пород, у пуделя и дога, например. *(поднимается и достает из сумки вазочку)* Ну все, Догги, наш час пробил – вон идет Пиявка. Как всегда, со своей свитой: два адвоката и три телохранителя Он все предусмотрел, кроме того, что мститель может притвориться слепым. Смотри, он уже сунул руку в карман, – ручаюсь, там у него мелочь для меня. Даже как-то жаль убивать такого щедрого и милосердного негодяя. Но выхода нет – или сейчас или никогда. Ведь если ему дадут хоть ничтожный срок, его поведут прямо

в тюрьму – выведут из другой двери под охраной полиции. Тут уж мой маскаррад не поможет. Ладно, пора, он уже совсем рядом. *(протягивает вазочку, слышен звон падающих в нее монет. Обращаясь к кому-то уходящему вверх по лестнице)* Благодарю вас, прекрасная дама! Вы так добры к бедному слепому! Ну вот, цель достигнута: на этот раз он уже лично бросил деньги в мою вазочку и никто из телохранителей и ухом не повел! Признайся, Догги, ты думаешь, что на этот раз цель у нас была другая? И что я снова струсил? А я не струсил! Я просто решил дать ему последний шанс. Я подумал, если мы с Мари ошиблись и его все же отправят в тюрьму, я лично могу его помиловать. Ведь все еще остается надежда, что он получит хороший срок, А если нет, я успею привести свой приговор в исполнение, когда он пройдет назад к своей машине. Мне это даже больше нравится – застрелить его в тот момент, когда он будет радоваться своей победе! Пусть потрясется от страха в ожидании приговора! Зачем лишать его такого переживания? Вот что, дружок, пойдёмка и мы за ним – почему бы и нам не полюбоваться этим зрелищем? Ведь даже слепым нищим не запрещено заходить в зал суда *(берет ДОГГИ на руки и прячет его в сумку)* Но, боюсь, собак туда не пускают, даже таких интеллигентных, как ты. Так что залезай в сумку и сиди тихо. *(нащупывая палкой дорогу уходит вверх по лестнице)*

2. Полдень

Нащупывая палкой дорогу, ЛЕОН выходит из двери, ведущей в здание суда, и вынимает ДОГГИ из сумки.

ЛЕОН: Ну вот и конец. Выходи, мой дорогой. Ты очень там страдал? Прости меня, но я должен был выслушать приговор. *(садится на ступеньку)* Я просто был обязан узнать, что решил суд, прежде, чем брать суд в свои руки. Все оказалось, как мы и предполагали. Штраф, лишение лицензии – но никакой тюрьмы, учитывая исключительные заслуги Пиявки перед человечеством. Нам остается только обсудить его исключительные заслуги перед нами лично. А наш приговор уже вынесен – смертная казнь. *(достает из сумки вазочку)* Теперь надо только дождаться, пока он выйдет из здания суда. И привести приговор в исполне-

ние. Я должен сознаться, Догги, что это вовсе не просто. Оказалось, что стрелять по мишени в тире гораздо легче, чем выстрелить в живого человека. Даже если ты лично приговорил его к смерти. Одно дело приговорить, другое – выстрелить. Ведь я видел, что делает пуля с куском брезента. А если представить себе, что это живое мясо, полное крови. Пуля пропорет это мясо, просверлит в нем огромную дыру и превратит его в фарш, кровь брызнет во все стороны, на асфальт, на лица прохожих, на их руки и одежду – ужас!

Во время этого монолога то и дело слышится звон падающих в вазочку монет, на что ЛЕОН отвечает репликой благодарности.

ЛЕОН: Все время, пока они завершали последние формальности, я смотрел на Мари. Я вдруг потерял всякий интерес к Пиявке и думал только о том, как она ужаснется, когда увидит, что я сделал! Ведь она обязательно увидит – мне придется стрелять, когда все выйдут из зала суда. И она тоже. Да, Догги, да, в конце концов, меня начало волновать, что на это скажет Мари, с ее ясным умом, с ее любовью к законности и порядку. Она сидела во втором ряду по диагонали от меня, так что я смотрел на нее сверху и немного сбоку, Она то и дело обращивалась, словно мой взгляд обжигал ей затылок, и всматривалась в мое лицо. Или мне это казалось? Потому что мне безумно хотелось, чтобы она меня узнала, Я вроде бы посылал ей сигнал, что это я. Я знаю, что ничего хорошего из этого бы не вышло, но в тот момент мне было все равно. Я так устал от своей полной невидимости в этом чужом городе, где у меня нет ни имени, ни места, ни лица. Даже телохранители Пиявки смотрят сквозь меня. Если их спросить, они и не вспомнят, что видели меня. Впрочем, это ненадолго – скоро они меня очень даже вспомнят! Да вон они, за стеклянной дверью, совсем близко, их задержали журналисты. Видишь эти вспышки, Догги? Это журналисты фотографируют нашего Пиявку. Счастливики – у них будут его предсмертные фотографии. А вон и Мари – она стоит в толпе сразу за Пиявкой. Что ж, теперь она меня узнает. Ну, конец, Догги, он идет! Наступает последний миг, в груди стеснение, где пистолет? *(нащупывает пистолет)* Спокойно, не психовать, все идет по плану: Пиявка подходит ко мне,

он совсем рядом, телохранители на меня нуль внимания, я встаю (*встает*), делаю шаг вперед (*делает шаг вперед*) и протягиваю вазочку левой рукой (*протягивает вазочку левой рукой*) – а правой выхватываю...

Пока ЛЕОН это говорит, раздаются два выстрела, за ними еще несколько. Крики, топот ног, вой сирены. ДОГГИ с громким лаем рвется вперед и тащит за собой ЛЕОНА.

ЛЕОН: (*на бегу выхватывая пистолет*) Мари! Не надо, Мари! Зачем ты? Я бы сделал это сам! Не надо, Мари!!

(воспользовавшись тем, что ЛЕОН не держит поводок как следует, ДОГГИ вырывается и убегает. Слышны еще выстрелы и отчаянный визг ДОГГИ, который тут же смолкает, затем еще один выстрел и ЛЕОН падает)

ЛЕОН: (*шепотом*) Постой, Догги, куда ты? Подожди меня!

Нина Воронель – поэт и драматург, один из основателей журнала «22». Автор многих книг и киносценариев. В Израиле с 1974 г.

**В последнее время журнал поддержали
пожертвованиями следующие лица:**

Долгопольский А. (Холон) – 30 шек.,
Кербель А. (Хайфа) – 50 шек.,
Козленко М. (Холон) – 50 шек.,
Лербер Г. (Хедера) – 20 шек.,
Любовник А. (Бней-Брак) – 10 шек.,
Надкович Л. (Нацерет-Илит) – 30 шек.,
Рудштейн Д. (Тель-Авив) – 25 шек.,
Янай С. (Хайфа) – 50 шек.

*Редколлегия выражает глубокую благодарность
преданным друзьям журнала.*

ПОЭЗИЯ

Евгений Сошкин

* * *

Взгляни – огонь сквозь пыль, поверх
воды воздел свою пунцовость
и растревоженную совесть
в пучину косности поверг.

Но, вихрем конным в прах степной
и снежным оползнем к подножью
низринут беспробудной ночью
и попран каменной ступней,

посланца горнего страшней,
твой дух взмывает ввысь, subtilen,
над поздним временем коптилен
и бранным грохотом траншей.

Взгляни туда, где, сам не свой,
твой дух крылами помавая,
парит, и лава огневая
с холодной спорит синевой.

И рдеет пламенный язык,
и жадно лижет скаты кровель,
но все, что пламень обескровил,
врачует жизненный родник.

И, твердь прощенную кружа,
в сердцах не сѣя разнобоя,
под сердцем небо грозовое
растит исчадьѣ мятежа.

Е. Сошкин – учащийся, в Израиле с 1991 г., живет в Араде.

Б. Кокотов

Сердце глухо болит по ночам –
неполадки в моторе.
На вопросы мои отвечая,
гаснет свет в коридоре.

Я в себе, как в больнице, лежу,
чтоб дойти до сортира,
нужно вену доверить ежу
игломира.

Нежный мозг в лабиринте своем
мысль о жизни лелеет,
но уже покатила клубком
медсестра за Тесеем.

С.К.

Я не пишу тебе писем
по одной единственной причине:
нет у меня подходящего повода,
подходящего настроения,
нет подходящих слов,
чтоб выразить подходящие мысли,
которых у меня тоже нет.
Существуем ли мы, не имеет значения,
наша история закончена,
сам Декарт не усомнился бы в этом.

* * *

Я – птица ночная, под перьями – страх,
внимаю, как мертвое сердце стрекочет,
и, цепко сжимая добычу в когтях,
пытаюсь взлететь, но прикованный прочно

проплесневшей цепью к массивной плите,
свой клюв разеваю, распластан крылато
в ночи, где зубчатых колес канитель
подвластна угрюмым богам циферблата.

* * *

Этим летом мы в Удельной
сняли дачу у пруда.
Клены, сосны, редкий ельник
да электропоезда.

Сын резвится в травке, весел,
и, как много лет назад,
опрокинутые в детство
дни нездешние стоят.

Вышли на угол, и точно
там в просвете вдаль
папа скачет по Песочной,
мама с сумками в руке.

Вот уж их фигуры близко,
бедный папка весь в поту...
– Мальчик наш! Привет, Бориска!
Ты поел? Давно ты тут?

– Нет, я ждал на перекрестке
вас недолго – тридцать лет,
вон в сторонке трехколесный
старенький велосипед.

На него мой сын садится;
лето, сосны, мошकारа...
прикоснуться бы, проститься,
но пора, пора, пора...

*Б. Кокотов – инженер, эмигрировал из Москвы в США в 70-е годы.
Живет в Балтиморе.*

*Екатерина Молоствовова,
Санкт-Петербург*

ЯМБЫ

Октябрьский день обломком янтаря
Тонул в Неве. И по воде кругами –
Все те, кто в эту осень были с нами:
Дворцы, сады, решетки, львы и люди.
Они, как мы, в круженье октября
Искали тех, кого уже не будет.

* * *

И если каждый день к Неве спускаться
В один и тот же час определенный
И у воды стоять хоть пять минут, –
То осенью набег ее взбешенный
Отбросить вспять движением руки
Удастся нам, и волны не сомкнут
Ни ноября, ни города, ни мира.

* * *

Опять январь. И снова год по кругу.
Трещат в печи еловые дрова.
В дверь приоткрытую с собой впуская вьюгу,
Заглянет рыжая кошачья голова...

Здесь церкви строились в предчувствии зимы.
Они вмерзали в белое пространство.
Напротив алтарей топились печи.
Что в этой вере было от христианства,
Что – от огня неукротимой речи?
...Здесь церкви строились в предчувствии зимы.

* * *

Мне это снится, снится, снится –
Как безысходен этот сон! –
Я уезжаю, а проститься
Никто не всходит на перрон.
Смотрю по сторонам растерянно,
С реальностью теряя связь.
Мой поезд тронулся размеренно.
– Я и себя не дождалась.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

НИНА ВОРОНЕЛЬ. *Кассир вечности* (пьесы и эссе).
Худ. Г. Виноцкий. 357 стр.
Книга, равно обращенная к тем, кто ищет в литературе
острого сюжетного драматизма, и к тем, кто хочет понять
окружающую жизнь.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В предыдущем номере «22» (№ 93) были опубликованы материалы дискуссии, недавно прошедшей в Университете Бар-Илан на семинаре «ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ САМО-ИДЕНТИФИКАЦИИ В СВЯЗИ С БУДУЩИМИ МИРНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ». Ниже следует реакция на эту дискуссию со стороны представителей русского еврейства. Как и остальные общины в Израиле, русская община состоит из двух, во всех отношениях неравных, частей, религиозной и светской. В то время, как религиозная часть, по-видимому, интенсивно растворяется в религиозном секторе израильского общества (см. статью Я. Шехтера), светская группа (см. статью А. Воронеля), даже успешно вращаясь в окружающую их жизнь, сохраняет свою прежнюю идентификацию и культурную память. Верные своей традиции объективно представлять все бытующие в русском еврействе течения, мы отдаем обе точки зрения на суд нашего читателя.

Александр Воронель

БОЖЕСТВО И ВДОХНОВЕНЬЕ

Володя (6 лет): „Бога нет!“

Баба Женя (66 лет): „Ты откуда знаешь?“

А, вот, есть!“

Володя: „А ты его видела? Видела?“

Баба Женя: „А ты Киев видел?“

Володя: „Нет.“

Баба Женя: „А он есть!“

Разговор с нянькой

Дожив почти до сорока лет в Советском Союзе и уже не веруя в Запад, иностранные разведки и даже сионистский заго-

вор, я чувствовал себя бессрочно осужденным, приговоренным и покинутым в забытой Богом тюрьме не слишком строгого режима. Но – душе настало пробужденье... Сионистское движение вернуло религиозный элемент в мое сознание, ибо это странное, сюрреалистическое движение в СССР вновь, как и в милом, сказочном детстве, предполагало всамделишное существование (и, возможно, даже вмешательство) незримого – государства Израиль*. И для души воскресло вновь: Свободный Запад, всезнающие разведки, Сионистский заговор! – Увы. Ненадолго.

По прибытии моем в Израиль волшебный Запад распался на множество одержимых национальным эгоизмом стран, их разведки возмутительно манкировали своими обязанностями, а сионистский Заговор воплощал в себе один Нехемия Леванон**, с которым крутые российские сионисты пребывали в безвыходном конфликте.

Может, сионистского заговора никогда и не было? Нечто отсутствующее в природе, не наблюдаемое в объективной действительности, само собой взвихрилось, поднялось и вынесло тогда триста тысяч евреев из России. И меня, в том числе...

Прошло 20 лет. И вот без Божества, без вдохновенья (однако, и без слез) дожили до следующей волны в полмиллиона людей, уже почти и без сионизма... На этот раз и без Заговора казалось понятным...

Хотя, – нет, есть еще одно мистическое понятие, близкое сионистскому заговору по своим импликациям – это еврейская самоидентификация.

Заговор (или сговор) – это когда евреи сговариваются между собой (когда это не евреи, находятся иные названия – соглашение, конвенция, союз или объединение; солидарность, в конце концов).

Самоидентификация (особенно, еврейская) – это признание

* Правда, ни одна советская газета в те времена не выходила без „доброе“ слова об Израиле. Но кто же верит газетам?

** Нехемия Леванон – помощник премьер-министра Израиля по делам русской алии в 70-х и в начале 80-х годов.

собственной принадлежности к некой (в еврейском случае – возможно, преступной) группе (группировке). Отсюда уже недалеко и до заговора (а где есть заговор – там маячит и приговор!). Не состоя в группе, ты еще можешь трепыхаться, отговариваясь удаленностью, неосведомленностью и якобы убеждениями. А, признав принадлежность к группе (группировке), про убеждения свои или, скажем, отсутствие на месте преступления можешь уже позабыть: „Единожды признавшись, кто тебе поверит?“

Однако, около двенадцати миллионов евреев в мире все еще признают. Откуда эта добровольная самоидентификация берется?

Хорошо бы русскому выходцу, наконец, понять, что все-таки если не Заговор и не коварные разведки, привело его (и многих других) в страну со столь взрывоопасной политикой, проблематичной экономикой и совершенно непостижимым менталитетом.

В 93-м номере „22“ была опубликована стенограмма академической дискуссии на тему „Изменения в еврейской самоидентификации в связи с будущими мирными соглашениями“, которую можно назвать академической, пожалуй, по месту ее проведения в Университете Бар-Илан.

Конечно, происходящий в реальности политический процесс никакого отношения к национальной идентификации иметь не может. Ибо суть его сводится к возможной готовности руководства арабских стран перейти от стратегического отрицания Государства Израиль к принятию его в Ближневосточный клуб, предполагающее всего лишь участие в тактической силовой игре, в которую они играют между собой. Это, конечно, большой прогресс в политике, но военные усилия, необходимость поддержания превосходства в вооружениях и напряжение на границах (не говоря о терроре) остаются тогда такими же постоянными факторами нашей каждодневной действительности, как и сейчас. Не ожидать же от правительств арабских стран, что они будут верны своим договорам с нами больше, чем они привыкли в отношениях друг с другом!

Поскольку дискуссия была академической, в ней прозвучала естественно речь писателя А.Б. Иегошуа, который убедительно набросал теоретические перспективы еврейской идентификации в Израиле в гипотетическом случае наступления истинного мира. Вряд ли эти перспективы могли бы вдохновить кого бы то ни

было, но они звучат особенно неприятно для выходцев из бывшего Советского Союза.

Главное, что справедливо обещал нам Иегошуа в результате установления мира – „процесс некоторого идеологического опустошения“, т.е. дэидеологизацию и, как следствие этого, „ассимиляцию элементов окружающего нееврейского мира“. Отомрет поселенческий дух и потребность в алии. Нарушится связь с еврейской диаспорой. „В стране будет много арабов: рынок, культурные связи, открытые границы... арабам совсем нетрудно будет задушить Израиль в собственных объятиях“. „Израильтяне восточного происхождения обретут легитимацию своего влечения к арабской культуре... и израильские арабы, рано или поздно, потребуют своей государственности... И тогда большая часть израильтян западного происхождения побегит на Запад из этой, становящейся все более арабской страны“. ...„И может быть определенная регрессия, некое снижение уровня... “ ... „И тогда встанет вопрос о влиянии на нашу секулярную идентичность американской поп-культуры“.

В просторечии все это называется левантизацией – и жестко связано с распространением лени, беспечности, технической малограмотности и экономической недобросовестности.

Из материалов дискуссии трудно было уловить какое-нибудь (хотя бы и академическое) взаимоотношение между выступлениями участников и ощущениями русских евреев. Однако, оно, по-видимому, существует – как-никак, мы тоже евреи. Оно должно существовать, так как с идентификацией или без каждый пятый израильтянин теперь происходит из бывшего СССР и что-то такое о себе думает.

Тогда, возможно, это отразится и на мирном процессе.

Дискуссия велась таким образом, как будто в нашей стране есть две разные основы для самоидентификации: религиозная и секулярная.

Простая мысль, что для существенной части нашего народа вопрос о национальной идентификации не только не решен (ни религиозно, ни как-нибудь еще), но, в сущности, сознательно еще и не поставлен, никому из участников дискуссии как бы не приходила в голову. Между тем, сегодня и ежедневно он практически решается в каждой семье олим в Израиле и в каждой семье из миллиона, оставшегося в России.

Поскольку подавляющее большинство русских евреев не знают своей религии, они, наверное, должны быть отнесены скорее к секулярной части населения. Тогда писатель, выступавший от имени секулярного лагеря должен бы отразить и какую-то долю их чувств.

Как ни странно было этого ожидать от сабры в седьмом поколении, он действительно отразил – очень своеобразный комплекс, характерный скорее для диаспоры, т.е. отчасти и для русских евреев, который можно было бы назвать, пожалуй, комплексом неполноценности, если бы он одновременно не сопровождался такими тонкими соображениями о нашей сугубой аномальности и уникальности: „Мы, еврейский народ, в сущности – некий андрогин, в том смысле, что мы, одновременно, нация и религия. ...Нас в какой-то момент сделали такими, изначально и по существу дефективными. Мы не можем не обратить внимания, сколько раз после того, как этот народ был создан, его хотели уничтожить. Потому что видели, что что-то здесь не срабатывает; что есть здесь какое-то противоречие, не данное к разрешению... И потому мы, нечто самопротиворечивое в самом себе, ... дефективный андрогин, никогда не могли создать для себя нормальный дом, были вынуждены бежать в изгнание, потому что только в ненормальном положении изгнания то ненормальное нечто, каковым являемся мы, могло как-то осуществить противоречие своего существования. ...Именно поэтому андрогин, каким мы все являемся, вызывал и вызывает к себе такую ужасающую ненависть. ...Потому что всегда был и остается вопрос – что это такое в действительности? Религия ли это? Или нация?“

Вся эта льстящая интеллекту погромщиков аргументация кажется очень сомнительной с исторической точки зрения – неужто ненависть к евреям действительно происходит от неудовлетворенного любопытства или из желания восстановить нарушенную существованием евреев логику бытия? Но настоящий интерес вызывает самоуничижительная характеристика автора, которая паче гордыни.

Если бы профессор филологии А.Б. Иегошуа просто захотел назвать евреев уродами, он вряд ли выбрал бы такой причудливый термин – андрогин, – взятый, ни много ни мало, прямо из „Диалогов“ Платона.

Андрогин – мужеженщина – у Платона вообще не означает урод. Он означает высшее существо, природа которого поднимает его над ограниченной односторонностью человеческого существования в виде однополой особи (как бы только получеловека). Андрогин воплощает в себе всю полноту человеческого, включающую мужскую и женскую природу одновременно. Андрогин – это сверхчеловек.

Человеческая неполнота, дробность, проявляется не только в половой сфере, которой греки придавали такое значение. Образ человека во всех культурах и во все времена был расщеплен на человека натурального (что включает и племенную идентификацию) и человека духовного (живо ощущающего единство мира и человечества), идентификация которого определяется тем, что он видит для себя как высшую ценность, то есть религией.

Потому что то, что человек признает для себя высшей ценностью, называется его религией, как бы он ни уворачивался от этого слова.

Ненормальность евреев, о которой говорит профессор Хайфского университета А.Б. Иегошуа, обращаясь к другим профессорам (Бар-Илана, единственного религиозного университета в Израиле), оборачивается вполне внятным для них всех превосходством. И они согласно вторят, что евреи, конечно, сумасшедший народ, подразумевая, что это их „сумасшествие“ выше практического разума. Они утверждают, что в XX веке, как и в библейские времена, еврейский народ продолжает свои попытки осуществить в жизни ту высшую полноту, цельность духовной и материальной, природной жизни, которая одушевляла их тысячелетия назад и сейчас остается недостижимым идеалом для всего человечества и для всякой религии. Попытки, о которых остальные современные люди (и остальные религии!), быть может, забыли и думать, безнадежно погрязнув в своем прагматизме.

Соединить религиозную истину с природной жизнью! Эта грандиозная мечта и породила в свое время иудаизм, а затем, в результате горьких исторических разочарований, и две другие мировые религии. Только неверие в само существование религиозной истины отделяет А.Б. Иегошуа от людей Бар-Илана и

мешает видеть, что он выступил, в сущности, с провозглашением уникальной мировой миссии религиозного еврейства. Как пророк Валаам, посланный проклясть избранный народ и, вопреки собственной воле, произнесший благословение. Враг религиозного фундаментализма, он, представив себе вживе ситуацию реального мира с арабским окружением, вдруг ощутил и не скрыл от своей аудитории, что вне религии (т.е. без привкуса фундаментализма) у нас нет никаких общих опор для еврейской идентификации...

Обычно считается, что секулярная, безрелигиозная идентификация держится на общих культурных ценностях. Можно спорить, достаточно ли у нас существующих (вне религии) еврейских ценностей, чтобы обеспечить идентификацией каждого израильянина, но бесспорно, что русский еврей всеми этими ценностями не владеет. Его культурные ценности, выделявшие его среди коренного (русского) населения – это превосходящее знание русского языка, свободное владение технической культурой и либеральное направление мыслей. Эти качества в самом деле отличали евреев в России, делали их полезными для одних и ненавистными для других, высоко конкурентоспособными, но могут ли они составить основу для еврейской самоидентификации в Израиле?

Однако, спросим себя, обязательно ли верить в Бога, чтобы выполнить его волю? Я позволю себе в этом усомниться.

Российские евреи, заполнившие улицы Израиля технически грамотным населением, менее всего на свете помышляли о выполнении роли, на которую профессора Бар-Илана охотно благословили бы их.

Идентификация, на основании которой они покинули Россию и близкие ей страны, не имеет, на первый взгляд, ничего общего с религией. ...Но еще меньше общего она имеет со светской еврейской культурой.

Еще совсем недавно еврейская идентификация на территории СССР была принудительной и определялась „пятым пунктом“. У многих эта принудительность вызвала недоброе, но вполне естественное, желание от этого пункта избавиться. Казалось, добровольной самоидентификации евреев в России пришел конец.

Однако, открывшаяся благодаря сионистской революции 60-70-х возможность превратить свою безнадежную социальную ущербность в обнадеживающую привилегию легально покинуть страну победившего социализма отчасти изменила общее настроение. А наступившая затем Перестройка сильно сдвинула государственное сознание России к Западу, так что можно ожидать и следующих шагов. Возможно, „пятый пункт“ в паспорте скоро исчезнет. Но за прошедшее бурное время столь многим людям в мире он принес реальные преимущества, что существование еврейской идентификации в России задним числом получает, наконец, свой объективный мотив и марксистское объяснение, обещающие ей долгую, счастливую жизнь. Еще много тысяч людей с трепетом будут рыться в старых сундуках в поисках забытых бабушкиных документов. Жаль, что сами бабушки этого уже не узнают, и такое видимое свидетельство Божьего промысла опять, как и всякое чудо, покажется их потомкам лишь случайным стечением обстоятельств...

Основания для национальной идентификации всегда субъективны. Они определяются популярной мифологией, семейным воспитанием, детскими впечатлениями улицы, случайными настроениями, интригами политиков, самолюбием и воображением выдающихся современников и еще тысячью факторов. Однако, сложность жизни в том и состоит, что неконтролируемые субъективные факторы не только существуют, но и фактически определяют объективные события. Например, субъективная оценка русским мужиком намерений своего правительства уже 70 лет определяет сельскохозяйственный кризис в России, капризные оттенки настроений американца ведут к колебаниям политического курса США, а предрассудки арабов в течение полувека обрекают их на положение отсталых стран.

Субъективное состояние русского еврея, которое невозможно ни предопределить, ни измерить, объективно изменяет демографический баланс Израиля, который, напротив, очень точно выражается в цифрах.

Этот странный феномен легко получает свое объяснение, если оставить квазинаучную схоластику, ищущую призрачных „объективных признаков нации“ и обратиться к близким человеческой природе определениям:

„Этнос – это свойство вида Гомо сапиенс группироваться

так, чтобы можно было противопоставить себя и „своих“ (иногда близких, а часто довольно далеких) всему остальному миру. Принадлежность к тому или иному этносу воспринимается самим субъектом непосредственно, а окружающими констатируется, как факт, не подлежащий сомнению. Следовательно, в основе этнической диагностики лежит ощущение“.*

Здесь важна не только субъективность чувств самого человека, но также и чувства его окружения. Только согласие, взаимность этих двух субъективностей, осмысленные в их столкновении, в общем культурном контексте, обеспечивают несомненную идентификацию. „Свои“ для российских евреев, пока что, только они сами. (В российском окружении у евреев есть общий контекст с окружением, но редко есть согласие. В Израиле есть согласие, но зато полностью отсутствует общий контекст).

Когда ты чувствуешь себя евреем и окружающие именно так тебя и видят, в душе не возникает повода для разлада. Но, если вообразить о себе невесть что (например, со щегольским оттенком: я – гражданин мира, я – русский интеллигент, я – европеец и живу вне наций), а окружающие не смогут при этом избавиться от впечатления от моей экзотической внешности или чрезмерной еврейской живости – конфликт неминуем. В империальных государствах всегда есть нужда в трезвом, трудолюбивом, законопослушном элементе, и отношение к меньшинствам оказывается разным со стороны разных кругов и политических партий в связи с разницей их целей и идеалов.

Человек, проводящий свои дни в близком социальном кругу, где его ценят за личные достоинства, может и забыть про свою идентификацию, светскую или религиозную. Однако при легчайшем сдвиге в обществе ему могут о ней напомнить. Т.к. согласие со средой не может быть вневременным и универсальным (в одной среде так, а в другой – иначе).

* Хотя Л.Н.Гумилев, которому принадлежит эта фраза, справедливо обвинялся в антисемитизме, он обладал проницательной интуицией националиста во всем, что касалось субъективного фактора в истории. Это его определение относится не к евреям, а к русскому народу, которому тоже не всегда легко дается ощущение своего единства.

В российском воздухе уже более ста лет нависает эта проблематичность, отражающаяся в вечных спорах, кто еврей, а кто – нееврей. Сами эти споры есть форма существования еврейской идентификации в России.

Как посмотришь с холодным вниманием вокруг – сговора нет и внутри еврейского народа. По-видимому, еще долго предстоит нам сохранять нашу специфическую идентификацию – русских евреев. Быть может, до поры, пока есть еще евреи в России? Не в том ли сермяжная правда?

Конечно, еврейское самосознание бывших советских граждан кажется построенным на песке. Но, будучи плотно уложен в мешки, песок может служить очень надежным оружием, оборонительным и наступательным. А для закладки фундаментов песок (в правильном соотношении с чем-то еще) являлся стандартным материалом от начала времен.

И недавние перемены в России не дают еврею строгой однозначности.

Его настроение все время колеблется между верностью его русской культуре и привычной социальной роли квалифицированного (а потому и привилегированного) меньшинства и мятежом против перманентной уязвимости своего положения инородца.

Религиозная идентификация значительно облегчила бы для нас этот мучительный выбор. В англо-саксонских странах, где идентификация любой группы традиционно определяется по типу церковной общины, нет подобного раздвоения, несмотря на существование и антисемитизма, и ассимиляции. Возвращающаяся христианизация России все чаще будет ставить еврея в положение, когда и ему придется определять свою принадлежность, по крайней мере, формально, исходя из религии.

То, что русский еврей, в конечном счете, решает проблему своей идентификации не разумом, а сердцем (у кого – какое), означает, в сущности, что в его смысле эта идентификация тоже религиозна. Конфликт, в который он вступает в Израиле, – это конфликт различного понимания религиозных ценностей.

Немногие помнят, что сразу после освобождения из СССР Щаранский не расставался с Библией и во всех интервью назы-

вал себя верующим. Я не думаю, что он стал менее верующим с тех пор, но он вынужден был привыкнуть к другому употреблению этого слова в Израиле. Возвышенное настроение узника, своими глазами увидевшего чудо вызволения из страшных рук современного фараона, не переводится на сухой, повседневный иврит.

Был заговор (Замысел) или его не было, но Израиль заселяется русскими евреями так последовательно, как если бы они исполняли некий Завет. Вряд ли многие задумывались о характере и содержании этого завета, но они ему следуют гораздо вернее, чем можно было бы предположить из любых реалистических посылок. Именно культурная дилемма, возникшая однажды на русской почве и реализованная так ярко Жаботинским (а также Бен Иегудой, Х.Н. Бяликом, Ахад Гаамом, И. Трумпельдором, П. Рутенбергом – я специально выбираю имена, для которых русская культура не была закрытой книгой), толкает к этой неожиданной верности. Можно подумать, что именно русским евреям было поручено свыше латать сквозные дыры, которые реальная жизнь проделала в алых парусах сионизма, сшитых для нас возвышенными европейскими душами в XIX веке. Кажется, что и сейчас именно русским евреям предстоит спасти Израиль от ужасов левантизации, так проникновенно описанных А.Б. Иегошуа.

Российский репатриант в Израиле впервые близко сталкивается с узко ортодоксальным пониманием еврейства и находится под впечатлением, что это понимание есть единственно возможное. Между тем, во многих аспектах наша специфическая советско-российская культура сближает нас именно с неформально понятым библейским мировоззрением.

Русская культура, что с ней ни делай, была и осталась культурой христианской. Советская власть в течение жизни трех поколений выкорчевывала христианские корни этой культуры и, в частности, образ самого Христа. Что такое христианская культура без Христа, можно только гадать, но факт, что мы знаем Десять Заповедей не от наших бабушек, не вызывает сомнений. От христианства до нас дошло все то, что было в нем и до рождества Христова и что делает его неотличимым от неформального иудаизма. Поистине, непостижимы пути Господни!

Жизнь в России отучила нас от всяких магических символов и знаков, она внушила нам примат дел и поступков перед верой

и обрядами и поселила глубокое недоверие к видимым богам. Она научила, что истинный Б-г невидим и невыразим, а потому и имени его не следует называть напрасно. К тому же одержимость своей профессией у нас часто сливается с маниакальным стремлением совместить поиски насущного куска хлеба с поиском пищи духовной. Наконец, наш общечеловеческий эгоизм зачастую сдерживается нашей „русской“ культурой едва ли не столь же эффективно, как и выполнением полного набора мицвот.

Что ж, кое-какие заповеди мы выполняем! Мы так далеко ушли от ортодоксии, что, быть может, нам даже легче было бы признать нашу преемственность с людьми в черных кафтанах, чем А.Б. Иегошуа:

„Я общался с французской журналисткой, и она попросила показать что-нибудь, что характеризует традиционный еврейский образ жизни. Я повел ее туда, где родился, в Геулу, которая превратилась в место, где живут харедим. И вот мы видим, как идут эти люди, эти странные люди в их странных одеждах. Мы смотрим на них, и я говорю себе: что делать – вот эти, они и выражают собою мое прошлое, и с ними, хочу я этого или не хочу, я должен связывать свою идентичность...“

Мне не кажется, что для меня это было бы так уж трудно.

Француженка, может быть, была очень довольна.

Где еще могла бы она увидеть нечто действительно оригинальное?

Кто показал бы ей вживе, как выглядели ее предки-мушкетеры четыре-пять веков назад? У какого народа хватило бы характера пронести свои повседневные обычаи из средних веков в сегодняшний день со всеми его соблазнами без всяких изменений? Евреи в черных шляпах и белых чулках, как архитектурный памятник, как зримый символ человеческой преданности невидимому, не хуже (а, может, и лучше) египетских пирамид, русских икон или готических соборов. Как сказал участник той же дискуссии, профессор Фридландер:

„Выполнение заповедей нужно мне не от страха перед Богом, а для сохранения символов. Это связывает меня с предыдущими поколениями, это дает мне возможность выстоять в борьбе. Для сохранения символов я вынужден оставаться ортодоксом“. Конечно, не символы, бороды и шляпы составляют содержание

религии, а отчаянная тяга спасти религию вынуждает людей к сохранению чересчур многих видимых символов.

Хорошо, по крайней мере, что у нас еще есть, что показать. Разве было бы лучше, если от нашего прошлого у нас остались бы только какие-то мертвые камни? Впрочем – есть и Западная стена.

Нет, идентификация русских евреев определенно покоится не на каменном фундаменте. Даже и могильные плиты наших предков давно пошли на строительный материал по всему бывшему Союзу. Однако, когда А.Б. Иегошуа, отчаявшись в будущем еврейской секулярной идентификации без религиозных подпорок, восклицает: „Да, я совершенно секулярный человек, я готов принять Десять Заповедей, разумеется, в этическом их коде, в их трактовке в качестве нравственных принципов. ...И в том отношении, как в них выражена еврейская историческая заповедь согласно Первому изречению. И в том отношении, как в них выражен монотеизм и универсалистский принцип еврейской религии, еврейская экзистенция“. Я думаю, что этот его идилический компромисс, на самом деле, уже давно осуществлен в недрах интеллигентной части русского еврейства. Двадцать лет жизни в израильском обществе убедили меня, что многократно предсказанная левантизация Израиля пока что не только не наступает, а, напротив, откладывается, и, возможно, усиливающееся с годами присутствие русского культурного элемента – одна из серьезных, хотя и невидимых, причин для этого. Еврейская секулярная идентификация отталкивается не от религиозной, а от арабской, азиатской, восточной, догматической и застойной нормы. Сам по себе мирный договор или даже миллион арабских туристов ей не повредят. Но потеря чувства общности, следующая за религиозным равнодушием, политическое раздражение против других групп своего народа, мешающих достижению ближайших партийных целей, могут ее развеять по ветру, растерять в суете, растворить в американизме.

Будучи невидимой и неопределимой, еврейская идентификация существует, вопреки всему, и действует в истории и в повседневных расчетах, как скрытый параметр, субъективный мотив, заменяющий сотни видимых причин и факторов, практически воздействующих на поведение тысяч людей. Эти люди своим поведением, а не словами и мнениями, создают то стран-

ное пятимиллионное единство, которое уже успешно сопротивляется растворению, ускользает от регламентирования и носит название Израиль, но еще не содержит зримой, объективно существующей, общей черты, которую можно было бы обнаружить достоверно, как при химическом анализе.

Здесь нет гарантии для оптимизма, но есть повод для вдохновения.

Александр Воронель – один из основателей журнала «22». Автор нескольких книг литературно-философского содержания. Профессор физики Тель-Авивского университета с 1974 г.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ЙОСЕФ НЕДАВА. Вечный комиссар (трагедия Троцкого). (Пер. с иврита). 300 стр.

Прослеживая жизненный путь второго после Ленина и все еще не затронутого «гласностью» создателя советской России, автор видит в «комиссарском интернационализме» Троцкого причину всех его успехов в годы революции и неизбежных провалов – в годы борьбы за ленинское наследие.

НА ПУТИ К „МЕДИНАТ ГАЛАХА“

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ЕВРЕЙСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Как много иллюзий пришлось похоронить советскому еврею, вгрызаясь в израильскую действительность, сколько красивых надежд и сладких снов нашли успокоение в Святой земле. Нет, она еще не умерла, проблема идентификации, все еще подрагивает почва над ее могилой, вздымаются в последнем „прости“ дирижерские палочки журналистских перьев. А ведь как хотелось, оказавшись, наконец, дома, припасть к корням и, растворясь в единстве народа, страны и религии обрести себя в качестве личности и гражданина.

Зазор между понятиями „израильский“ и „еврейский“ начал проступать уже в приемном покое аэропорта Бен-Гурион, превращаясь, по мере абсорбции, в „дистанцию огромного размера“. Разница состояла не в каких-либо отдельных привычках, заимствованных у соседних народов Востока; речь шла просто о другом предмете. Лично для меня последнюю точку водрузил сынишка соседей, который на вопрос „Чем отличается хороший еврей от хорошего израильтянина?“ ответил: – Хороший еврей – это раввин, а хороший израильтянин – офицер парашютистов“. Уяснив, что средний „милуимник“ также далек от синагоги, как и среднестатистический „оле ми Русия“, бывший советский еврей больше не думает об этих глупостях, отдавшись битве за насущный хлеб с окружающим истэблшментом. И раз живем в свободной стране, значит так можно, а иденти-

фикация пусть себе подождет до конца выплаты машканты. Тема перестала быть злободневной и потихоньку исчезла с бесчисленных страниц „русской прессы“.

Вопрос осознания себя и своего места в мире занимает, в принципе, каждого мыслящего человека, в какой бы стране он ни родился и к какой бы национальности ни принадлежал. Репатрианты последней волны алии несомненно вернутся к этой проблеме, а пока журнал „22“ познакомил читателей с израильским взглядом на идентификацию, переведя на русский язык материалы дискуссии, произошедшей в Бар-Иланском университете, дискуссии странной и поучительной. Странного в ней много, но особенно бросаются в глаза формулировка темы и результаты ее обсуждения.

Семинар назывался „Изменения еврейской самоидентификации в связи с будущими мирными соглашениями“. Видимо, организаторам дискуссии национальная идентификация представлялась чем-то вроде сезонной одежды, которую можно легко менять или видоизменять в зависимости от внешних условий. Даже более того, соглашения еще только предполагается заключить, а изменения в самоидентификации, по мнению организаторов, уже произошли. Вдвойне странно, что речь идет об еврейской идентификации, одной из наиболее древних и, наверняка, самой постоянной из всех существующих на Земле.

Ход ведения дискуссии вызывает недоумение даже у самого неискущенного читателя. Несмотря на обилие профессуры, не был сделан даже первый шаг в сторону серьезного обсуждения. Обычно, говоря о предмете спора, начинают с формулировки проблемы, а лишь затем приступают к разбору деталей. Здесь же, несмотря на явное противостояние сторон, никто даже не попытался дать определение идентификации. Может быть, дискутирующим сторонам и так все было ясно или, как опытные люди, они просто решили обойти стороной скользкий момент терминологии. Кому, как не писателям и философам, знать ограниченность человеческого языка. Как часто мы определяем одинаковыми словами разные понятия, а потом благополучно запутываемся в собственной терминологии. Не следует слишком доверять формулировкам, решили, наверное, участники семи-

нара и приступили непосредственно к сути. А поскольку суть каждому представлялась несколько иной, чем соседу, то семинар вместо совместного обсуждения породил несколько монологов, в той или иной степени находившихся в рамках заданной темы.

К проблеме еврейской идентификации существует множество разнообразных подходов. Можно разглядывать ее с исторической, моральной, философской точек зрения, можно говорить о социальном, политическом или экономическом аспектах вопроса. Находимся мы у истоков, где-нибудь лет за десять до появления на свет еврейского народа, нам бы вряд ли удалось прийти к какому бы то ни было единому мнению. Слишком много параметров предстояло бы учесть, слишком большое число критериев определяло бы конечный результат. Сомнениям, вопросам и предположениям не было бы конца. Но сегодня, спустя три тысячелетия существования нашего народа, невозможно не заметить следующего: там, где еврейские общины крепко держались за Тору, они сохранились. Там же, где исчезала связь с религией, моментально пропадали и сами общины. В принципе можно сказать, что все ныне живущие евреи – потомки очень религиозных людей. Стоило ослабнуть ниточке, связывающей деда с синагогой, как сын его превращался, по определению Жаботинского, в ассимилятора, а внук в антисемита. Тот, кто сегодня считается евреем, без труда обнаружит не далее чем в третьем поколении своей семьи религиозного фанатика с длинной бородой и пейсами.

Разбирая вопрос еврейской идентификации Саадия Гаон* пишет: „Только Тора делает наш народ народом“. Как же это проявляется на уровне личности, чем каждый отдельно взятый еврей отличается от нееврея? С точки зрения Талмуда, как у еврея, так и у нееврея одно и то же предназначение, одни и те же смысл и задача существования, только к цели они идут разными путями. Цель эта – стать праведником, т.е. человеком,

* 882-942 гг., Вавилон „Книга веры и мнений“, первое систематизированное философское объяснение иудаизма.

постигшим волю Всевышнего. Праведник – цель мироздания, по существу, вся цивилизация создана для того, чтобы выплавить его в своем горниле. Перед праведником распахиваются двери в „Грядущий мир“, то есть в следующий этап работы души, а перед не исполнившим свое предназначение они, понятное дело, остаются закрытыми.

„Грядущий мир“, как заметил Рамбам*, словосочетание обманчивое. Оно вовсе не означает некое абстрактное понятие, относящееся к чему-то, что пока отсутствует. „Грядущий мир“ существует параллельно с нашим, но, будучи скрытым от человеческих глаз, устроен так, что попасть в него можно, только пройдя через смерть. Конечная задача каждого человека – достигнуть „Грядущего мира“, разница заключается лишь в правилах, которыми нужно руководствоваться, пытаясь постигнуть Высшую волю. По существу, весь Талмуд есть огромная дискуссия, до мелочей уточняющая подробности исполнения Высшего желания для евреев и для неевреев. Все известные нашей цивилизации монотеистические религии ссылаются, в конечном итоге, на Синайское откровение и строят модель поведения личности в соответствии с правилами, переданными человечеству через Моисея.**

У евреев проникновение Б-га в сферу деятельности человека гораздо глубже, чем у других народов. Различие между евреем и неевреем в утилитарном плане проявляется через количество правил – „мицвот“. Если нееврею для того, чтобы стать праведником, необходимо осмыслить и выполнять семь из них, именуемых в западной культуре десятью заповедями, то еврею для той же самой цели необходимо соблюдать 613.

Вот тут-то и обнаруживается путаница с идентификацией потому, что под евреем подразумевается не просто предста-

* Маймонид, 1135-1204, Египет, книга „Морэ невухим“.

** Одни из наиболее ярких страниц в книге „Кузари“, написанной Иегудой Галеви (1080-1142, Испания), посвящены обсуждению этой темы, в ходе которого раввин приводит властителю хазар Булану немало убедительных доказательств.

витель определенной национальности, а человек, живущий в соответствии с конкретными правилами. Возможно, такой способ конструирования национального самознания имел в виду царь Соломон, вкладывая в уста Экклезиаста риторический вопрос: „Какая польза человеку от всех его трудов, которыми он трудится под солнцем“. Мидраш* приводит пояснение одного из мудрецов: „Сказал рабби Юдан: под солнцем нет пользы, но выше солнца – есть“. Астрономы, наблюдая за Солнцем много веков подряд, составили точные графики изменения величины солнечных пятен, которая влияет на силу и характер излучения**. Совместив эти графики с событиями, происходящими на Земле, можно увидеть как буквально все, от цунами, политических кризисов и эпидемий до месячных циклов женщин, совпадает с пиками или впадинами на графике солнечной активности. Механизм пятнообразования есть функция баланса сил притяжения между планетами солнечной системы, то есть зависит от их взаимного расположения на небосклоне. Влияние куда меньшее, но также вполне ощутимое, оказывают на Солнце все звезды и планеты мироздания, и оно, результируя множество сил, генерирует некий закон изменения. Наверное, это имел в виду царь Соломон, говоря о тщетности усилий человека, о невозможности вырваться из „солнечной предопределенности“. Но как тогда понять Мидраш, толкующий о какой-то „надсолнечной“ пользе?

Рабби Юдан напоминает про обещание Б-га, данное основателю еврейского народа Аврааму: „Судьба еврея не зависит от звезд“.**. Есть в мире способ подняться над судьбой, есть возможность вырваться из-под пресса Солнца и взлететь над законом предопределенности. Этот способ – исполнение „мицвот“, указаний Главного Конструктора, создавшего звезды,

* Сборник комментариев на Тору, составленный примерно между пятым и шестым веками в Вавилоне.

** Цитируется по книге А. Чижевского „Земля в объятиях солнечных бурь“.

*** Пятикнижие, Брейшит, глава „Лех Леха“.

планеты и запустившего в ход механизм, именуемый судьбой. В таком понимании смысл избранности еврейского народа и, следовательно, его самоидентификации, предстает не как привилегия, автоматически даруемая с момента рождения, но как возможность для души, ищущей правды, подняться над мирозданием и превзойти его. Если же генетический еврей по каким-либо причинам не использует эту возможность, его судьба ничем не отличается от судьбы соседа-нееврея. Талмуд говорит (Трактат „Брахот“): о человеке судят по состоянию его души. Духовность – основа личности, ее смысл и содержание, она есть главная действительность человека, а тело – всего лишь сосуд, ее вмещающий. Именно она определяет склонности и устремления, обуславливает предрасположенность к определенному роду деятельности.

Различие в духовности – это прежде всего различие в источнике, в корне души, в ее способности воспринимать Б-жественное, в ее направленности к Б-гу. Еврей по рождению получает изначально больший, в сравнении с неевреем, потенциал построить в себе такую духовность, но он может и отказаться от этого дара.*

Таким образом, оперируя понятиями современной науки, представляется возможным разъяснить, хотя бы на каком-то уровне, смысл высказывания царя Соломона. Для „надсолнечной“ опции объяснения пока не найдено, возможно, через несколько лет или десятков лет ученые обнаружат биолучи особого свойства, вырабатываемые человеческим организмом при накладывании тфиллин, или какие-нибудь удивительные витамины, содержащиеся в кашерной пище и предохраняющие от действия солнечной радиации. Сегодня же мы можем оценивать эффективность религий и духовных движений лишь по результатам их влияния на материальный мир. Сначала

* Вместе с тем, наша история полна случаев, когда неевреи, принявшие иудаизм, становились величайшими мудрецами и праведниками. Достаточно сказать, что цари Израиля произошли от Рут-моавитянки, и, следовательно, всеми ожидаемый Мессия тоже в корне своем нееврей.

нужно посмотреть, сколько лет существует такая теория – пятьдесят, сто, пятьсот, тысячу, три тысячи. Если она устояла достаточно долго, то сколько людей живут в соответствии с нею и как. Предположим, религия говорит о любви, а ее именем жгут людей на кострах. Или провозглашает равенство и братство, но за это двадцать миллионов должны сгнить в концлагерях. Иудаизм выдерживает такую проверку, чего нельзя сказать о доктрине, с помощью которой еврейскому народу предлагалось в течение последнего века изменить идентификацию, сбросив с парохода современности все эти сказочки про солнце и особую миссию. Я имею в виду секулярный сионизм; и дискуссия в Бар-Иланском университете есть очередное проявление извечного еврейского спора: кто мы?

Если понимать под идентификацией определенную иерархию духовных ценностей и вытекающий из нее образ жизни, то секулярный сионизм находится в тупике, о чем, собственно, и свидетельствует позиция А.Б. Йегошуа. Духовные ценности не зависят от изменения политической ситуации, и с ними не спешат расставаться.

Идентификация евреев как народа строится не на общности территории проживания, языка и средств производства, а на Торе, изменение которой из-за нынешнего мирного процесса маловероятно. У израильтян же, и без того смутно представлявших, кто они, ощущение утраты идеалов проскальзывает в выступлениях лидеров всех секулярных направлений. Яков Хазан, один из основателей левой идеологии Израиля, сказал в интервью для телевидения, взятом буквально за несколько дней до его смерти: „Мы воспитывались в традиционных еврейских семьях и для нас собственное еврейство было естественным, как воздух, и необходимым, как вода. Нам казалось, что и дети наши автоматически унаследуют эти чувства, обогатив их идеалами справедливого устройства общества. Выяснилось, что мы допустили ошибку“.

Обращаясь к делегатам съезда Ликуда, созванного после поражения на выборах, Ариэль Шарон высказался еще более откровенно: „Наши отцы приехали сюда строить еврейское государство. Исторически сложилось, что оно приобрело демокра-

тический характер, но это никогда не было самоцелью. Где-то в середине пути мы сбились с дороги и сегодня нам приходится выбирать между национальным характером государства и механизмом его управления. По моему мнению, пусть будет больше еврейства и меньше демократии". Разрушение еврейской идентификации привело к созданию нового самосознания, носители которого, вместо продолжения халуцианских традиций, убегают из страны. В добровольный галут они уносят с собой главное достижение сионизма – возрожденный язык.

Возвращение еврейского народа в Эрец-Исраэль придумал не Теодор Герцль. Тысячелетиями, три раза в день, евреи поворачивались в сторону Иерусалима и просили Б-га собрать изгнанников в Сион. Почему же раввины приняли в штыки халуцианское движение, почему кроме рава Авраама-Ицхака Кука никто из мудрецов двадцатого века не сказал о сионизме ни одного доброго слова? Ответ известен: основной целью халуцианства было не возрождение страны, а создание новой национальности, свободных и гордых *израильтян*. Свободных от средневековых оков религии и гордых каждой новой коровой в киббуцном коровнике. Раввины увидели в сионистах очередных „митъявним“, а в сионизме – опасность для существования евреев, как народа. Только рав Кук, сравнивая строительство государства с возведением Храма, писал: „Во время постройки в „святая святых“ заходили каменщики, плотники, штукатуры. Когда же Храм был освящен, только первосвященник и только в Йом-Кипур входил в нее, трепеща от страха и благоговения. Аналогичная ситуация складывается, когда все евреи строят новое еврейское государство“. Рав Канеман, основатель ешивы „Поневеж“, придерживался иного мнения. „Как только исчезнет угроза со стороны арабов, – говорил он своим ученикам, – сионисты выведут танки на улицы Бней-Брака“.

В сегодняшнем Израиле подходит к концу война культур. Сионизм, как духовное движение, потерпел крах и его представители обращаются к противникам с просьбой о помощи. Это и есть главное, что заключено в речи А.Б. Йегошуа. Ассимилированному израильскому обществу нечего противопоставить арабской культуре, ведь его идентификация была не еврейской, а анти-

арабской. Враг исчезает, и теперь надо срочно искать замену исчезающей вместе с ним идентификации. Приходится лезть на антресоли и, перебирая старые чемоданы, искать что-нибудь подходящее.

В пятидесятые годы, на пике эйфории построения нового общества, Бен-Гурион решил встретиться с Хазон Ишем, духовным лидером религиозного еврейства. Беседовали они с глазу на глаз, и подробностей встречи никто не знает. Огласку получил только один эпизод:

– Вы остались в стороне, – сказал Бен-Гурион. – Еврейский народ идет за нами.

– В Талмуде, – ответил Хазон Иш, – написано: когда два верблюда одновременно подходят к узкому мосту через реку, то пустой уступает дорогу несущему поклажу. Мы полны и поэтому мы пройдем. А вы, сколько бы вас ни было, вы останетесь.

Бен-Гурион только усмехнулся. Его нетрудно понять: в те годы религиозная община Израиля насчитывала несколько тысяч человек. Сегодня положение изменилось, человека в кипе можно встретить на любом уровне управления государством, в любой сфере деятельности. Количество религиозных евреев уже превышает численность ишува во время провозглашения государства. Кроме всего прочего, у них есть одно серьезное преимущество – много детей, которые не уезжают из Эрец-Исраэль. Через тридцать, сорок, пятьдесят лет они станут тут большинством, демократическим путем изменят законы и превратят Израиль в „мединат галаха“. Вот тогда-то и будет освящен Храм, а каменщики, маляры и штукатуры соберут свои метлы, скребки, книги и освободят место для настоящих хозяев. Хотя может случиться и так, что каменщики не захотят уходить, предпочитая разрушение Храма потере власти.

Яков Шехтер – публицист, член редколлегии журнала «Алеф».

НАШИ СОСЕДИ

*Иегуда Литани,
израильский журналист*

ИСЛАМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ИЗРАИЛЕ И НА ТЕРРИТОРИЯХ

Около года назад я был приглашен в Газу встретиться с тамошним руководством Хамаса. Было утро пятницы, позади долгий разговор, и один из лидеров сказал, что, если я хочу продолжать нашу беседу, мне придется пойти с ними на молитву. На мое замечание, что я еврей, шейх сказал, что меня переоденут в боснийского мусульманина, якобы прибывшего в гости.

То были самые страшные три с половиной часа в моей жизни, хотя, поверьте, у меня бывали в жизни страшные часы. Я был единственным евреем среди двадцати пяти тысяч фанатичных мусульман, собравшихся в то утро. Молитва началась вполне обычно. Она продолжалась часа два, а потом проповедник перешел к пятничной проповеди. Замечу, кстати, что все люди, о которых я говорю, оказались впоследствии в Ливане, среди депортированных лидеров Хамаса.

Итак, аль-Хатиб перешел к проповеди и начал ее с довольно необычного призыва – убить всех евреев до единого. Легко понять, как чувствовал себя ваш „боснийский друг“. Затем аль-Хатиб зачитал несколько высказываний пророка, одно из которых, помню, сводилось к тому, что даже в Судный день, когда евреи бросятся спасаться за скалами и деревьями, скалы и деревья возопят: „Тут прячется еврей, убейте его!“ В эту минуту я спросил своего провожатого, нельзя ли мне выйти. Он ответил: „Наш боснийский гость не вышел бы в такой момент. Тебе нечего опасаться, ты защищен моим гостеприимством“. Главной темой

проповеди, которая продолжалась больше часа, была западная цивилизация, которая пытается захватить Ближний Восток и исламский мир и уже захватила Палестину – эту неотделимую и святую часть мусульманских земель. „Мы, мусульмане Палестины, – сказал проповедник, – обязаны защищать каждый дюйм этой святой земли. Этого требуют от нас пророк и Коран, это поручили нам мусульмане всего мира“.

Как я уже сказал, это было страшно. Но после этого мы продолжили беседу. Моими собеседниками были два местных хамасовских лидера. Один из них раньше учился в Гарварде и теперь работал хирургом в газанской больнице. По своим манерам он был вполне западным человеком, и в то же время в нем ощущалась непримиримая враждебность к Западу. Он объяснил мне, что в будущей исламской республике Фаластын евреи будут пользоваться правами религиозного меньшинства, то есть только религиозными, но не политическими правами. Со мной был итальянский журналист, и его явным образом шокировало все, что он услышал.

Я и раньше знал, что представляет собой Хамас, но тут я впервые увидел размах и силу этого движения. Мечеть, где звучала проповедь непримиримой ненависти к Израилю, располагалась всего в нескольких стах метров от большого израильского армейского лагеря. Неподалеку находился один из самых крупных лагерей беженцев с населением восемнадцать тысяч человек. Проповедь передавалась по радио и разносилась из громкоговорителей по всему лагерю. И это происходило каждую пятницу...

Не мне судить, было ли решение премьера Рабина депортировать четыреста активистов Хамаса правильным. Но мой газанский опыт говорит мне, что во всяком случае основания для этого несомненно были. Мне хотелось передать здесь этот опыт, свои ощущения человека, побывавшего среди фундаменталистов. Проповедник, которого я слушал, провозглашал призыв убивать евреев совершенно открыто, на глазах у израильских солдат. Он повторял этот призыв из недели в неделю. Его слушали десятки тысяч людей. „Происходит непримиримая война между двумя религиями, – убеждал он слушателей, – и она может кончиться только победой одной из них, примирение невозможно“.

Хамас и Исламский джихад принадлежат к более общему

фундаменталистскому объединению, известному под названием „Мусульманские братья“, ответвления которого существуют практически во всех исламских странах. Более крупным из них является Хамас, за которым идет 75-80% фундаменталистов Газы и Западного берега, около полумиллиона человек. Обе группы финансируются, главным образом, иранским режимом, от которого получают 8-10 миллионов долларов в год. Саудовский режим официально не поддерживает экстремистов.

Хамас и Исламский джихад весьма эффективно используют получаемые деньги. В отличие от ООП, они не имеют громоздкой и дорогостоящей административной структуры. За годы своего существования ООП изрядно истэблишировалась. Сегодня, например, на Западном берегу у нее существует 42 исследовательских института, из которых, по меньшей мере, 40 являются совершенно ненужными. Каждый палестинский лидер имеет сегодня телохранителей, американскую или японскую машину. На все это уходит добрая половина средств организации. А это огромные средства. Два года назад, в пике интифады, бюджет ООП составлял 250-300 миллионов долларов в год, и даже сейчас он оценивается в 90-120 миллионов.

Фундаменталисты куда скромнее и в расходах, и в быту. Почти половина их средств поступает за счет добровольных пожертвований самих палестинцев. Вот почему во время войны в Персидском заливе, когда ООП потеряла свое финансирование, Хамас мог продолжать свои действия, опираясь на внутренние ресурсы. Это и был поворотный пункт, когда он начал вытеснять ООП на территориях. Активисты ООП жаловались тогда, что из-за отсутствия средств уступают активистам Хамаса. Но, конечно, важную роль играло бескорыстие хамасовцев. Например, по оценкам израильской разведки, содержание хамасовской террористической группы из 3-5 человек обходится всего в 4-5 тысяч долларов в год. Легко представить, что может сделать такая организация, имея бюджет в десятки миллионов!

Существует принципиальная разница между исламским движением на территориях и внутри Израиля. Исламское движение израильских арабов является частью истэблишмента. Оно не призывает к уничтожению Израиля и созданию палестинского государства. Его лидер, шейх Дөрвиш, провозглашает, что он готов жить бок о бок с еврейским государством. Дөрвиш провел несколько лет в израильской тюрьме за нападения на кибуцы и

попытки убийства израильских граждан, поэтому я был поражен, прочитав эти его декларации, и отправился к нему в Кфар-Касем. У нас состоялся долгий откровенный разговор, в ходе которого он убедил меня в своей искренности. Он сказал, что в тюрьму он пришел „с сердцем, полным ненависти к евреям“. Он был уверен, что евреи виновны во всех бедах палестинцев. Но в тюрьме с ним произошел духовный переворот. В то время там служил некий полковник, который стал каждую ночь приходиться к Дервишу и разговаривать с ним об истории евреев и палестинцев и их взаимоотношениях. „Он был исключительно добр ко мне, – рассказывал Дервиш. – Он понимал каждое мое слово. Он доказал мне, что вина есть на обоих народах“. Дервишу пришлось довольно трудно – против него были не только экстремисты Хамаса, но и радикалы из собственного лагеря. Его угрожали убить. Для Хамаса шейх Дервиш более опасен, чем любой израильтянин, ибо его проповедь подрывает самые основы агитации Хамаса. Он, например, говорит, что два национальных мученика Палестины – это еврей Эмиль Гринцвайг, выступавший в защиту прав палестинцев, и доктор Сиртауи, лидер ООП, призывавший к мирному сосуществованию. Дервиш даже носится с проектом создания в Кфар-Касеме монумента в память об этих двух „героях мира“.

После встречи в Газе странно встретиться с шейхом Дервишем. Я подозреваю, что многие эксперты со мной не согласятся и даже скажут, что скрытые мотивы Дервиша и лидеров Хамаса одни и те же. Насчет Дервиша я с ними не соглашусь, но готов признать, что в исламском движении в Израиле существует довольно сильное меньшинство, которое действительно добивается того же, что и Хамас, хотя не провозглашает этого в открытую. Эти люди не призывают к террористическим методам. Они хотят использовать возможности, предоставляемые им израильской демократией, чтобы постепенно, изнутри, укрепить свои позиции среди израильских арабов и привести их под знамена исламского государства. Израильские власти не реагировали, когда в свое время эти люди начали регулярно посещать мечети в Газе. Призыв, который эти люди приносили обратно к палестинцам, звучал так: ООП провозглашает туманные обещания, что когда-нибудь в будущем у вас будет независимое государство; мы же, посланцы и слуги Бога, с вами – здесь и сейчас. И ваша надежда реальна уже сейчас.

Руководство фундаменталистов выполняет свои обещания. Оно действительно помогает своим членам, и они не жалуются на своих руководителей, в отличие от активистов ООП.

В Израиле идут споры, являются исламские движения на территориях и в Израиле частями единого движения или у них разные цели. Я считаю, что разные. Внутриизраильское исламское движение ставит перед собой задачи, достижимые с помощью демократических механизмов – прежде всего, с помощью муниципальных выборов. Обратим внимание, что это уже важный сдвиг, потому что экстремисты утверждают, что мусульмане не должны участвовать ни в каких выборах в еврейском государстве. Позиция умеренных, вроде шейха Дервиша, – не новинка в исламе, его история знает много случаев компромисса (с христианами, например), и это порождает надежду на возможность такого же компромисса в нашем случае. После успеха на муниципальных выборах лидеры израильских фундаменталистов поговаривают теперь о возможности участвовать в следующих общеизраильских парламентских выборах. Шейх Дервиш говорит, например, что из той полусотни исламских студентов, которые уже сейчас обучаются в Тель-Авивском университете, можно вырастить достойных представителей фундаменталистов в израильском парламенте. Если они действительно пойдут на парламентские выборы, можно ожидать, что они получат 40-50% арабских голосов в Израиле и будут иметь 3-4 представителей в кнессете.

Я хотел бы уточнить картину. Влияние шейха Дервиша наиболее велико в центральных районах арабского Израиля. Влияние его оппонентов-исламских экстремистов более сильно в Негеве и секторе Газы. На севере наблюдается смешанная картина.

Перейду теперь к ситуации на территориях. Многие израильские эксперты считают, что Хамас – совершенно независимая исламская организация, но мои данные говорят мне, что Хамас тесно связан с „Мусульманскими братьями“, особенно в Иордании и Египте. Впрочем, в последнее время, когда „Мусульманские братья“ в Египте подвергаются преследованиям, оружие поступает к Хамасу, в основном, из Судана, и Египет служит только перевалочным пунктом.

Показательно, что суннитский Хамас установил тесное сотрудничество с шиитской Хизбаллой: еще несколько десятилетий назад это было бы немыслимо. Мы присутствуем при этапе,

когда общий этим движениям экстремизм и общие политические цели оказываются важнее, чем их исторические религиозные различия.

Хамас возник как религиозное движение в помощь общинным нуждам палестинского населения. Сейчас многие израильские левые обвиняют правительство, что оно закрывало глаза на цели Хамаса и косвенно даже помогало ему против ООП. Но эти обвинения несостоятельны: нынешних целей у Хамаса тогда не было и нынешнего влияния тоже. Тогда организация пользовалась поддержкой, быть может, 20% населения. Сегодня она подбирается к 40%, а может, и выше, а в Газе – и ко всем 50%! В секторе Газы ООП явно теряет большинство, и в ближайшие несколько лет она его наверняка потеряет. И тогда израильтянам не с кем будет разговаривать. Потому что в отличие от исламского движения в Израиле, о котором еще можно спорить, искренняя его умеренность или нет, в отношении Хамаса и Исламского джихада никаких сомнений быть не может. Их конечная цель – создание исламского государства на территории всей Палестины. В секторе Газы постепенно утверждаются все правила исламского закона и поведения. И это показывает, что будет на Западном берегу, если Хамас и там захватит большинство.

И это – самый мрачный прогноз на будущее. Никакая депортация не может остановить рост рядов Хамаса. Ее поддержка растет вместе с ростом газанского населения и лагерей беженцев и ростом отчаяния в них.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. Контурь Талмуда (популярный очерк; пер. с иврита). 244 стр.

Созданный выдающимся религиозным философом современности и фактически первый за столетие на русском языке рассказ о сущности и особенностях Талмуда – этой энциклопедии еврейской мудрости.

Сеид Бешарми

ТАДЖИКСКИЙ МЕМУАР

(окончание, начало см. в „22“ № 93)

НАЦИОНАЛИЗМ

Само понятие „таджик“, в смысле представитель древнейшего, коренного, иранского и ираноязычного („арийского“) населения Средней Азии, противопоставляемое другим, тюркским народам не очень давнего происхождения, сильно уязвимо с научно-исторических позиций. Национализм же, неофициальный и полуофициальный, им вполне удовлетворяется.

Боюсь, что невольными духовными отцами таджикского национализма были русские ученые-ориенталисты, учителя первых поколений таджикской гуманитарной интеллигенции 20-х - 30-х годов. Сами того не замечая, он вложили в неподготовленные умы своих учеников национальную идею, которая раньше просто не существовала: „Оседлый житель Средней Азии чувствует себя, в первую очередь, мусульманином... мысль о принадлежности к определенному народу не имеет для него никакого значения. Лишь в новейшее время под влиянием европейской культуры (через посредство России) возникло стремление к национальному единству“. Эти слова русского востоковеда В.В. Бартольда (в статье „Сарт“ из „Энциклопедии ислама“) справедливы и сейчас; нужно лишь внести коррекцию в сегодняшнее понятие „мусульманин“ да ограничить „стремление к национальному единству“ кругами новой среднеазиатской (в нашем случае таджикской) интеллигенции.

Так или иначе, именно высокоученые русские учителя внушили своим таджикским ученикам мысль о том, что они - не

просто представители ираноязычного населения Туркестана, а потомки великого народа, некогда владевшего всей Средней Азией и создавшего здесь великую культуру; что тюркские племена, позже вторгнувшиеся в Среднюю Азию, присвоили себе плоды этой культуры, а ее подлинных носителей силой оттеснили из плодородных долин, из цветущих городов в горные тущобы, где они и вынуждены ныне обитать. Что, наконец, таджикская культура гораздо древнее и богаче европейской (читай - русской) культуры, а это лишает проживающих в Таджикистане европейцев (русских) права играть роль „культуртрегеров“, имеющих какие-то фиктивные культурные преимущества по сравнению с коренным местным населением.

Эти идеи, выраженные, конечно, не прямо „в лоб“, а облаченные в изящно завуалированную форму, преподнесены в ряде трудов разной степени научности, которые были опубликованы за последние годы. Среди них стоит отметить книгу „Таджики“, написанную покойным Б.Г. Гафуровым, некогда первым секретарем ЦК КП Таджикистана, а позже директором Института народов Азии и Африки в Москве (почти всю ее в действительности написал, как говорят заслуживающие доверия лица, историк - Б.А. Литвинский), а также труд Н. Негматова „Государство Саманидов“ - книгу в значительной мере невежественную, но оттого более откровенную в плане пропаганды „национальной идеи“.

Главный враг таджикских интеллигентов-националистов - не местные узбеки и даже не местные евреи, а русские. Точнее - влияние русской культуры, русского языка и русских обычаев, которое рассматривается как русификация и подрыв устоев национального бытия. С этим влиянием таджикский национализм ведет непрестанную, хорошо замаскированную борьбу - с отступлениями, рывками вперед и затяжной позиционной войной.

Русификация, действительно, существует. Все больше молодых горожан-таджиков называют своим родным языком русский, все ширится область распространения русского языка. Без знакомства с русской профессиональной литературой не может существовать никакой, даже самый плохой специалист. Очень раздражает местную интеллигенцию запрет защищать на родном языке кандидатские и докторские диссертации, - только по-русски. Запрет этот, впрочем, - слабая препона на пути

научного невежества, скорее попытка его хоть как-то контролировать.

Принято считать русификацией и официальные гонения на некоторые старинные обычаи, связанные с традициями ислама, и попытку заменить их обычаями более, что ли, европейскими. Такой была борьба с ношением паранджи и „чашмбанда“ - черной сетки из конского волоса, скрывавшей лицо женщины.

Я не стал бы относить к русификации непрекращающуюся борьбу с мусульманской религией, которая тянется долгие годы и которую ведет - с невежественной, чисто азиатской беспощадностью - именно таджикское руководство республики. Конечно, в принципе оно выполняло при этом идущие сверху инструкции, но вносило в это дело массу собственной оригинальной инициативы. Борьба сводится, в общем, к предельному сокращению мест отправления религиозного культа, проще говоря - к максимальному уменьшению числа действующих мечетей. Их осталось ничтожно мало, все остальные закрыты, превращены в склады, хлевы, школы (это еще ничего), просто пустуют и разрушаются. Местные власти (таджики, не русские) бдительно следят за тем, чтобы старики не собирались в закрытые мечети для молитвы, чтобы, не дай Бог, не вздумали отремонтировать мечеть общественными силами. Ситуация, однако, непроста, потому что в своем подавляющем большинстве таджикские мечети - памятники народной архитектуры и искусства, имеющие большую художественную ценность. Соответствующий закон требует, чтобы их сохраняли и даже реставрировали. Вот и разрывается власть на местах между несовместимыми требованиями: с одной стороны - министерство культуры требует беречь и ремонтировать мечети, с другой - за ремонт „очага мракобесия“, пусть даже бывшего, можно очень легко лишиться партийного билета и перестать быть властью.

Впрочем, таджикских интеллигентов-националистов проблема мечетей не слишком тревожит, так как их национализм - не столько исламский, сколько иранский. Недаром за последние годы в этой среде стало модой давать детям не арабско-мусульманские традиционные, а древние иранские имена, почерпнутые в „Шах-Намэ“: Рустам, Исфандиар, Нигина, Фаридун, Сиявуш и т.п. По той же причине меняется форма фамильных окончаний, и фамилия интеллигента, прежде имевшая русифицированную форму, начинает звучать элегантно по-ирански. Так

поэт (а ныне председатель Союза писателей Таджикистана) Мумин Каноатов стал Мумин Каноат, - долой русское окончание!; писатель Джалол Икрамов превратился в Икрами, писатель Масумов - в Масуми, журналист Шукухов - в Шукухи. Не Бог весть какая трансформация, иногда почти незаметная, но - фига в кармане, и сразу видно борца с русификацией.

Внизу, на улично-автобусном уровне, нравы проще и чувства выражаются откровеннее. Здесь таджикский национализм питается бытовой антипатией, обычно спрятанной, но довольно часто выплескиваемой наружу. Дискуссии на интернациональные темы вспыхивают обычно в городском транспорте, чаще всего почему-то между дамами. - Мы вам культуру принесли! - кричит русская дама. - До нас вы тут по деревьям прыгали. У тебя вон хвост только вчера отсох! - Таджикская дама, задохнувшись от невыносимого оскорбления: - Это у тебя отсох! На нашей земле живешь, наш хлеб ешь. Кто тебя звал? Водку вы нам принесли, а не культуру! - и т.д.

Будем справедливы: в большинстве своем таджики (по причинам, изложенным выше) действительно работают хуже русских. Есть исключения, и даже блестящие, но не о них сейчас речь. Ведь не случайно же, что в Госплане (государственной плановой комиссии), где работа сложная и часто тяжелая, таджиков почти нет, зато в Совете министров, где не столько работают, сколько проверяют чужую работу и руководят, их полным-полно. Я спросил как-то сотрудника Института астрофизики, русского, почему в их институте работают почти исключительно европейцы. Он глянул на меня с удивлением: - Что Вы, у нас институт серьезный. Здесь работать нужно. - Такие вещи не остаются незамеченными. И хотя дипломированные таджики в большинстве своем и сами не очень рвутся туда, где нужно по-настоящему „вкалывать“, это озлобляет одних, у других вырабатывает комплекс неполноценности.

Мне кажется, что именно этот комплекс породил, в конечном счете, самый пышный цветок таджикского национализма: преувеличенное представление о роли таджикского народа и его культуры в истории человечества. Это представление воплощается в необыкновенных и смелых гипотезах, источник которых лежит в незаурядном невежестве их авторов.

Один мой приятель, таджик-археолог, вполне серьезно убедил меня в том, что Шекспир, безусловно, знал таджикский

язык и был хорошо знаком с таджикской литературой. Доказательство: из этой литературы заимствованы почти все сюжеты шекспировских пьес. Каких же? На это мой собеседник, слабо знакомый с творчеством английского классика, ответить не смог, однако назвал „Ромео и Джульетту“ и их предполагаемый таджикский источник. Последний восходил к 12 веку и был знаком только очень образованным филологам-иранистам. Дальнейшая беседа показала, что о таких вещах, как „бродячие сюжеты“, мой приятель никогда не слышал и даже не подозревает об их существовании. Но и мои разъяснения на этот счет не поколебали уверенности в том, что Шекспир обокрал таджикскую литературу.

Есть еще одно явление, к которому таджикский национализм глубоко равнодушен: смешанные браки. Речь, конечно, идет о браках между таджиками и европейцами, или, если глядеть, так сказать, в духовный корень, о браках между мусульманами с одной стороны и христианами или иудеями - с другой. Эта сложная проблема не исчерпывается национализмом, но все же имеет к нему прямое отношение.

Было время - 30-е, 40-е, даже 50-е годы, когда смешанные браки не считались в Таджикистане чем-то невиданным и необычным. Молодые таджики, учившиеся в России или служившие там в армии, иногда привозили с собой на родину русских жен, - это было нарушением обычаев, но не чрезмерным, так как по шариату (своду законоположений ислама) жена-иноземка мусульманину не запрещена. Кроме того, такие браки были ограничены кругом городской, более образованной молодежи. Крестьяне и вообще „простой народ“ крепко держались (как и сейчас держится) старых обычаев, согласно которым сына лучше всего женить на племяннице, - это оптимальное решение. Если не на племяннице, то на другой родственнице; если не на родственнице, то на соседке; если не на соседке, то на девушке из этого же кишлака или города. И уж, конечно, невеста должна быть мусульманкой, то есть таджичкой или узбечкой, на самый худой конец - киргизкой или татаркой.

Я не знаю статистики (ее, может быть, и нет), но имею основание думать, что большинство смешанных браков несчастливо и недолговечно. Несовместимое различие жизненных традиций рано или поздно ставит перед русской женщиной в таджикской семье задачу с двумя решениями: сломаться, капитулировать

перед чужим и неприятным укладом жизни, т.е. пожертвовать своей личностью, - или уйти, вернуться в собственную привычную среду, пожертвовав любовью и, может быть, детьми. Для русской женщины тяжелы и необычны и внешние формы быта в таджикском доме - способы есть, спать, оборудовать жилище, проводить досуг, - и родственные отношения с родителями мужа (беспрекословное подчинение и обязательные зримые приметы почитания) и с его обычно очень многочисленными родственниками. (В домах даже очень высокопоставленных таджикских интеллигентов почти постоянно гостят родственники из провинции. Они приезжают целыми многодетными семьями на неопределенное время. И хозяйка дома должна за ними, конечно, ухаживать). К этому можно добавить еще и некоторую психологическую несовместимость, непонимание друг друга, разную реакцию на одинаковые, казалось бы, явления, - все, что вызвано принадлежностью разным культурным материкам, христианскому и мусульманскому.

Конечно, есть и исключения, и я знал несколько пожилых таджикско-русских пар, живших - по крайней мере, внешне, - в добром согласии. Дети в этих семьях, записанные по отцу таджиками, были воспитаны в русской культурной традиции и чувствовали себя преимущественно русскими.

Все сказанное, однако, касается браков, где муж - таджик, а жена - русская или, так сказать, россиянка. Совсем иное дело - вариант противоположный: таджикская жена при русском (российском) муже.

Такие случаи исключительно редки, и таджикская интеллигентско-националистическая общественность относится к ним резко отрицательно.

Один случай касается уже известного нам Мирзо Турсунзаде - прижизненного классика и гордости таджикской литературы, главы писателей Таджикистана, а также выдающегося борца за мир и дружбу народов, представлявшего таджикский народ на различных международных форумах. Дочь классика, легкомысленно отправленная в Москву для учебы в университете, вышла там замуж - страшно молвить - за русского еврея. Рассказывают, что ревнитель дружбы народов, узнав об этом, прилетел в Москву и устроил дочери страшную сцену с вырыванием волос (своих), криками и слезами. Аргументация была на уровне общественного мнения: - Ты опозорила отца! Что скажут теперь

про меня люди? Ты подрываешь мой авторитет! - и т.п. Событие рассматривалось не с точки зрения чувств, вкусов и воли самого отца, а с точки зрения несомненной реакции на него общественности. И упомянутые безутешным отцом „люди“ были, ясное дело, не всем таджикским народом, а командной верхушкой, элитарным слоем, к которому принадлежал сам Мирзо: реакцию слоя на „незаконный“ брак своей дочери он представлял себе ясно.

Насколько мне известно, эта история имела благополучный конец: молодая женщина устояла перед доводами папы, осталась с мужем в Москве и вроде бы благополучно живет с ним по сей день. Таджикская интеллигенция предпочитает о ней не вспоминать.

Другой случай имел наибольший общественный резонанс и кое-кем был воспринят как национальная катастрофа, так как касался едва ли не самой популярной в Таджикистане семьи Айни. Родоначальник семьи, Садриддин Айни, считается первым современным таджикским писателем: он написал несколько книг интересных воспоминаний о дореволюционной Бухаре (они переведены на европейские языки), пару романов на революционную тему (по-моему, плохих), писал стихи и исследования классической персидско-таджикской поэзии. Его абсолютная лояльность к власти обеспечили ему звание основоположника советской таджикской литературы, забвение его джадидского („младобухарского“) прошлого, звание первого президента Таджикской Академии наук и много других почетных постов. Имя Айни носят сейчас одна из главных улиц и площадь в Душанбе (на площади стоит огромный памятник Айни), оперный театр в Душанбе и два поселка, один из которых - районный центр, до того уже дважды переименовывавшийся. Садриддин Айни, умерший в 1954 г., был по-восточному очень образованным человеком и плодовитым литератором. Отблеск его национальной славы пал, конечно, и на его семью, и вот в ней-то произошло прискорбное событие: одна из дочерей Айни, Лютфия, искусствовед и выпускница Московского университета, вдруг бросила молодого и красивого таджикского мужа - и, всем на удивление, вышла замуж за русского художника, живущего в Душанбе, - старого, некрасивого и к тому же много лет просидевшего в лагерях. Это событие потрясло таджикских националистов, круг которых вдруг оказался намного шире, чем это можно было

себе представить. Старший брат Лютфии, Камол Айни, торжественно и гласно проклял ее; другие члены знаменитой семьи прекратили с ней всякие отношения. Новый брак дочери классика был воспринят как отрицательное явление не лично-семейного, но общественно-республиканского масштаба: нарушительницу несколько раз приглашали в Совет министров и Центральный комитет компартии Таджикистана и там вели с ней соответствующие разъяснительные беседы. Когда это не помогло, прибегли к методам материального воздействия: пресса перестала печатать статьи Л. Айни, а издательство, к чему-то придравшись, расторгло с ней договор на книжку. Все это, увы, не помогло, и хотя страсти со временем поутихли, - общественный статус Лютфии Айни оставался сомнительным и неопределенным еще несколько лет, до тех пор, пока ее русский муж не умер. К тому времени проштрафился и Камол: возвращаясь из очередной поездки в Афганистан (в качестве руководителя группы таджикских туристов), он пытался скрыть от советских таможенников транзисторный приемник, наполненный золотыми изделиями, но на этот раз это ему почему-то не удалось. Впрочем, сын классика отделался испугом, а таджикская интеллигентская общественность отнеслась к его проступку гораздо более снисходительно, чем к прегрешению его сестры.

ШОВИНИЗМ

В Таджикистане, как и в Узбекистане, есть арабские селения. Считается, что живущие в них арабы - потомки завоевателей, которые в 8 веке присоединили Среднюю Азию к арабскому халифату и утвердили здесь ислам. Местные арабы говорят по-таджикски и по-узбекски (и по-русски, конечно), трудятся в колхозах и к своему давнему иноземному происхождению относятся вполне спокойно, выгодно отличаясь этим от своих соплеменников на Ближнем Востоке. Однако не забывают, что они - именно арабы, тем более что этот факт был долгие годы зафиксирован в паспортах. Но вот лет 15 назад таджикским арабам выдали новые паспорта, в которых значилось, что они - таджики. Арабы отнеслись к трансформации спокойно, но не без некоторого удивления: зачем? Тем более, что она ровным счетом ничего в их жизни не изменила, - и они сами себя, и

соседи-таджики их продолжали считать арабами. Знакомый учитель из арабского кишлака высказался по этому поводу так: - Э, правильно. Какие мы арабы? Язык не знаем, молиться не знаем. Только имя осталось, теперь имя тоже нет. - И далее высказал здравую мысль, что превращение арабов в таджиков произошло, так сказать, на местном республиканском уровне, без распоряжения и ведома Москвы. И целью этой хитрой акции было - повесить все еще невысокий процент таджикского населения в Таджикистане. Хотя все это очень похоже на нарушение прав человека (так как с арабами никто по этому поводу не советовался и их мнения не спросили), ущерба вроде бы никому не было, а для статистики даже выгода.

Другое дело - политика, проводимая по отношению к мелким народам западного Памира, может быть, тоже „на республиканском уровне“, но вполне соответствующая понятию великодержавного шовинизма. Вот так вкратце выглядит здешняя ситуация.

Знаменитая горная страна Памир занимает всю юго-восточную часть Таджикистана, по площади составляет чуть меньше половины всей территории республики, а в административном отношении образует так называемую Горно-Бадахшанскую автономную область со столицей Хорог. Восточный Памир почти безлюден, здесь кочуют редкие киргизские племена. Иначе выглядит западный Памир: здесь в долинах горных рек разделенные хребтами, живут в селениях мелкие оседлые народы - шуганцы, рушанцы, язгулемцы, ваханцы, ишкашимцы и другие. Они говорят на собственных, родственных между собой языках, которые относятся к иранской группе, но далеки от таджикского. В прежние времена платили дань „живому богу“ исмаилитов Ага-хану, - шиитская секта исмаилитов, к которой традиционно принадлежит население западного Памира, настолько далека от ортодоксального ислама, что большинство мусульман считает памирцев неверными, „кофырами“. И культура и быт памирцев особые: их женщины пользуются большой свободой, никогда не закрывали лиц и не избегают мужских компаний. Отличаются памирцы и внешне: это рослые люди с европейскими чертами лица, крупными носами, часто светлыми или рыжими волосами. Словом, всеми статьями - языком, культурой, верованиями и даже внешним обликом - западные памирцы отличаются от таджиков. В большинстве своем они - энергичные, любознательные и способные люди. Сейчас памирцы составляют влиятель-

ную и довольно большую группу в республиканском руководстве (другие группы в этом руководстве их не любят и стараются выжить), а про себя с гордостью шутят, что количество кандидатов наук на душу населения у памирцев больше, чем у любого другого народа.

До войны малые народы Памира имели свою письменность и литературу, то есть на их языках издавались газеты и книги. Памирские дети учились в школах на своих родных языках, были поэты и писатели, сочинявшие и публиковавшие на этих языках книги. Словом, существование особой памирской культуры было признано, так сказать, „де-юре“, и были созданы условия для ее жизни и развития. После войны эта благодать ушла в прошлое. Обучение в памирских школах ведется теперь только на таджикском языке, - для детишек, впервые пришедших в класс, он понятен не более, чем, скажем, датский. Газет и журналов на малых памирских языках давно нет, литераторы-памирцы или переквалифицировались, или пишут свои сочинения на таджикском языке. Некоторые в этой области даже преуспели, например, - поэт Мирсаид Миршакар, написавший (конечно, по-таджикски) поэму „Ленин на Памире“. Две областные газеты, издающиеся в Хороге, выходят на таджикском и русском языках.

Лишение маленьких народов их собственной письменности и литературы имеет, конечно, ясную цель: возможно более полную ассимиляцию этих народов, их слияние с таджиками, - их и называют-то теперь официально не их собственными именами, а какими-то загадочными „памирскими таджиками“ и в отчетах включают в число таджикского населения республики. Вроде бы нет вовсе таких народов.

Памирцы - не таджикские арабы: те ассимилировались естественным образом, - этих, сохранивших свои особые языки, национальные традиции и культуру, - ассимилируют насильно. Руководители небольшого таджикского народа по отношению к другим, еще меньшим народам проявляют, увы, тот самый вульгарный шовинизм, который принято называть великодержавным. И наличие которого - конечно, по отношению к себе - таджикская интеллигенция сильно подозревает в старшем русском брате.

РЕЛИГИЯ

Не владея арабским языком, я лишен возможности проникнуть в глубины исламской религиозной мысли, которая, возможно, где-нибудь и сейчас существует. Много веков назад эта мысль кипела, создавала различные школы и философские направления. Для советской Средней Азии - и в частности для Таджикистана - эти времена давно прошли, и мусульманская религия превратилась здесь в систему обрядов, комплекс ритуалов, едва ли имеющих внутреннее содержание.

Таджикская интеллигенция по существу нерелигиозна и к проблемам ислама в современном мире проявляет ничтожно малый интерес. Объясняется это, во-первых, советским атеистическим образованием, и, во-вторых, тем, что, как уже говорилось, таджикский национализм имеет не исламско-наднациональную, сколько паниранскую направленность. Он ориентирован скорее на вчерашний шахский Иран, чем на нынешний, религиозный Иран Хомейни. Этот последний не может быть привлекателен для таджикской интеллигенции еще и потому, что таджики-суниты и персы-шииты принадлежат к двум враждебным направлениям ислама, а такие традиции нелегко забываются даже в атеистическом обществе. Еще одну причину нерелигиозности таджикской интеллигенции, как и подавляющей части народа, я вижу в трезвом прагматизме таджикского национального характера. Таджик - человек конкретного целесообразного действия, будь то организация плова на четверых или насильственное переселение массы горных жителей-памирцев в хлопковые долины. Религиозная мысль, возвышенная и абстрактная, не причастная каждодневному бытию, ему мало свойственна.

Не верьте таджикскому интеллигенту, который гордо называет себя мусульманином: это не более чем националистский камуфляж, невидимая граница между ним и коллегами христианско-иудейского происхождения. Почти наверняка он неважно разбирается в обрядах ислама, не читал Коран (хотя бы потому, что не умеет читать по-арабски), не соблюдает постов и, конечно, не молится положенные 5 раз в сутки. Т.е. вообще не молится. Некоторые из моих знакомых-интеллигентов не ели или не любили свинину, - просто потому, что в домашних условиях не были приучены к этому продукту и унаследовали традиционное отвращение к нему. И, конечно, никто не отказывается из рели-

гиозных соображений от водки, а некоторые употребляют этот популярный напиток даже слишком часто и много. На ехидные замечания по этому поводу шуточно объясняют, что, дескать, пророк Мухаммед запретил пить вино, по поводу же водки распоряжений не сделал, так как водка в те времена не была изобретена. А что не запрещено - дозволено.

Правда, употребление водки в мужской таджикской компании обычно обставляется некоторым ритуалом, призванным подчеркнуть особость, несовместимость этого напитка с истинно мусульманской едой, чаще всего пловом. Водка разливается в стаканы или пиалы до еды и выпивается залпом без закуски, за этим следует минутная пауза; после паузы участники трапезы произносят скороговоркой традиционную формулу „Бисмиллои рахмони рахим“ („Во имя Бога милостивого и милосердного“ - этими арабскими словами должно начинаться любое дело) и приступают к еде.

Есть, однако, в современном Таджикистане мусульманский обряд, который соблюдается неукоснительно и без исключений, на всех ступенях общественной лестницы. Это обряд обрезания. Здесь его совершают над ребятишками 6-8-летнего возраста и сопровождают многолюдным и дорогостоящим празднеством.

Ни одним таджикским родителям, независимо от образовательного ценза, партийности и должности, просто не пришлось бы в голову оставить своего сына необрезанным. Когда приходит срок, это делается без рассуждений и с автоматической неизбежностью, - как свадьбу или, не дай Бог, похороны.

В кишлаках все сложнее. Там действительно еще жива вера в Бога (не уверен, что в чисто мусульманского), а рядом с этим - вера в нечистую силу, духов, привидения и многое прочее. Там еще можно услышать из уст школьного учителя, т.е. местной интеллигенции, рассказ о том, что покойники иногда садятся в своих могилах, и тогда их живые родственники переживают различные несчастья - болезни, кражи, падеж скота и пр. В этом случае могилу нужно раскопать, покойника вежливо уложить и вновь засыпать могилу. Должно помочь.

Мусульманская религия, такая, какая есть, потеряла в таджикской деревне свою духовную монополию: не говоря уже о всяческом волшебстве, которое тут всегда уважалось, рядом с ней и над ней появилась новая сила, еще более могущественная и властная. Сила Партии. Вот история, которую рассказал мне

директор школы в одном селе на юге Таджикистана. Рассказал, как широко известное реальное происшествие, с указанием дат, имен и топонимов, которые я здесь, конечно, опускаю.

В одном кишлаке поссорились соседи - старик-колхозник и мулла местной мечети. И не просто поссорились, а стали заклятыми врагами. В Средней Азии наличие врага обязывает к активности: врагу полагается чинить неприятности и, по возможности, усложнять жизнь. В данном случае силы врагов оказались неравны: возможности старика-колхозника были ограничены природой, тогда как мулла был не просто мулла, но и сильный колдун. И разнообразно пользовался своей колдовской силой во вред старику, его семье и приусадебному хозяйству. За короткое время на голову старика обрушились несчастья: померз виноград, стали болеть идохнуть бараны, какой-то червяк сожрал урожай гранатов. Члены семьи заболели различными редкими болезнями, и кто-то из них даже умер. Причем наглый мулла не только не скрывал и не отрицал, что эти беды исходят от него, но даже похвалялся перед жителями кишлака, набивая цену своим колдовским талантам и показывая, как опасно враждовать с ним.

Бедный старик пробовал бороться с муллой тем же оружием, но его любительское колдовство было куда слабее профессионализма его врага и не имело сколько-нибудь серьезных последствий. И Аллаху не мог старик пожаловаться, - по той ясной причине, что представителем Аллаха в кишлаке как раз и был его смертельный враг. Тогда вконец отчаявшийся старик решил апеллировать к последней, самой высшей инстанции. Он поехал в районный центр, явился в райком партии и попросился на прием к первому секретарю. Получив аудиенцию, старик рассказал секретарю свою печальную историю, добавив, что у него нет сил продолжать борьбу, и просил партию защитить его и семью от козней мурлы.

Секретарь райкома очень рассердился и велел немедленно доставить к нему муллу. Вскоре мулла был привезен в райком; секретарь спросил его, правда ли то, что он услышал от старика-крестьянина, и мулла был вынужден во всем сознаться: партии врать нельзя. Тогда секретарь райкома сказал: - Это неслыханное безобразие. В дни, когда наша страна переживает техническую революцию, когда советские космонавты исследуют вселенную, когда во всех областях науки и техники мы идем вперед

семимильными шагами и оставляем далеко позади себя даже самые передовые капиталистические страны, - в такие дни ты, политически неграмотный мулла, имеешь нахальство заколдовывать трудящихся колхозников, - и где?! В моем районе. Этого я потерпеть не могу. Это какое-то средневековье. Это, наконец, противоречит научному мировоззрению. Расколдуй его немедленно!

И мулла был вынужден тут же, в кабинете секретаря райкома, расколдовать своего соседа. Более того. Мулла поклялся, что и впредь не будет вредить старику, и даже волшебным образом восстановил им же поврежденное хозяйство соседа. И, конечно, подчиняясь воле партии, перестал с ним враждовать. Так, ко всеобщему удовлетворению, закончился этот конфликт, показавший истинную степень могущества партии.

Даже и в сельской местности, в кишлаках мусульманские религиозные обряды соблюдают почти исключительно пожилые люди, проще сказать - старики. Мне кажется, что и в этом находит выражение свойственный таджикам трезвый, практический подход к жизни. Молодые и зрелые годы жизни человек здесь живет без оглядки на религиозные установления и запреты: в мечеть совсем или почти совсем не ходит, постов не соблюдает, охотно и помногу пьет спиртные напитки, с легкостью нарушает все моральные заповеди Корана, с которыми, впрочем, едва ли знаком. И если и соблюдает автоматически некоторые исламские традиции (произносит, например, „бисмиллои...“ перед едой), то именно как традиции, не столько религиозные, сколько народные. Но где-то под конец шестого десятка жизни (иногда и раньше) осмотрительный человек начинает подготавливать свое будущее загробное благополучие: оно, конечно, доподлинно неизвестно, есть Бог или нет, но лучше все-таки предусмотреть эту возможность, тем более, что так делают все вокруг. И стареющий таджик начинает соблюдать посты, перестает пить спиртное, начинает молиться - может быть, не пять раз в сутки, но часто, - и ходить в мечеть по пятницам и праздничным дням. Он, наконец, меняет внешность: бреет голову, отращивает усы и особым образом подстриженную бороду, а европейские брюки и пиджак заменяет таджикским халатом-„чапаном“ черного или темно-синего цвета. На голову вместо национальной вышитой шапочки-тюбетейки, которую носил прежде, иногда повязывает чалму. И когда вы видите на улицах таджикских сел

и городов почтенных длиннородых старцев в чалмах и длинных халатах, отрешенных, казалось бы, от земного, - не думайте, что это живое воплощение вечного и загадочного Востока. Вероятнее всего, позавчерашние колхозные бригадиры, автомеханики, милиционеры и продавцы, много и разнообразно грешившие, а теперь заблаговременно ставшие в очередь на место в мусульманском раю. Не думайте также, что изменение облика и образа жизни означает какую-то внутреннюю метаморфозу: они все те же, ни в чем не раскаявшиеся, вполне довольные своим прошлым, но твердо знающие (не ими и придумано), что ожидает от них общество и как они соответственно должны поступать.

Как, вероятно, повсюду на земле, таджикские женщины в целом более религиозны, чем мужчины. Однако в мечети женщины не ходят, - там собирается исключительно мужское общество, - и вынуждены удовлетворять религиозные чувства посещением мусульманских святых мест, „мазаров“, которых в Средней Азии, и в том числе в Таджикистане, видимо-невидимо. Вообще-то ислам, как известно, религия монотеистская, и культура святых здесь в принципе не должно быть. Но то - принцип, а народ во все времена и повсюду нуждался в святых заступниках и помощниках, и в результате - вся Центральная Азия (в том числе, конечно, Таджикистан) усеяна бесчисленными могилами святых или местами, каким-то образом со святыми связанными - мазарами. Святых здесь никто не регистрирует, не корректирует и не ограничивает, поэтому в одной только Средней Азии их, наверно, больше, чем в католической и православной церквях вместе взятых. А мазар - это обычно здание с могилой внутри, иногда - капитальный купольный мавзолей почтенного возраста, чаще - скромная каркасно-глиняная постройка. Некоторые мазары специализированы: одни помогают от бесплодия, другие - от желудочных болезней. Бывает, что к мазарам едут семьями, иногда даже очень издалека. Но чаще приходят женщины с детьми из соседних и окрестных мест; женщины молятся здесь, непременно снаружи (внутри заходить не полагается и страшно), засовывают в щели постройки мелкие деньги, угощают случайных прохожих специально выпеченным хлебом (это жертва благотворительности, „худои“) и привязывают к ветке растущего здесь дерева белую тряпочку, - чтобы святой не забыл просьбу.

Официально признанных мазаров в Средней Азии, конечно, нет, - эти места считаются рассадником суеверий и мракобесия, и хотя сейчас их не уничтожают так активно, как в 20-е - 30-е годы, - государство об их сохранении не заботится, если мазар „по совместительству“ не оказывается памятником архитектуры, имеющим художественную и историческую ценность. Тем не менее при мазарах встречаются сторожа-добровольцы. Это обычно бездельники, паразитирующие на религиозных чувствах женщин и собирающие подчас весьма приличную дань. Ничего общего с профессиональным духовенством они не имеют. А если мазар - памятник архитектуры, то у него (у памятника, а не мазара) должен быть законный сторож, получающий свое жалованье в Министерстве культуры республики. К этому более чем скромному вознаграждению сторож имеет солидный приварок, так как пускает в мазар паломников и самозванно исполняет при них роль муллы. Местные власти смотрят сквозь пальцы, так как сами - в глубине души - относятся к мазарам и святым могилам в них не без суеверного страха. Однако после приказа сверху - если таковой последует в результате доноса или разоблачительной статьи в „центральной“ прессе - местные власти действуют так решительно и молниеносно, что Министерство культуры часто, увы, не успевает их опередить.

Мазаров в Таджикистане сотни. Отношение к ним населения - уважительно-опасливое, не столько как к религиозной святыне, сколько как к источнику волшебной силы - может, доброй, а, может, злой. Мазары начальство по собственной воле не трогает, и даже если мазар - открытая всем ветрам руина, никому в голову не придет что-нибудь оттуда унести. Мечеть можно превратить в склад или хлев, мазар - никогда. Но если простые люди своего испуганно-почтительного отношения к мазарам не скрывают, то интеллигенты его стесняются и бесед на „мазарные“ темы обычно избегают.

Полагаю, нет надобности подчеркивать, что „культ мазаров“ в Таджикистане, как вообще в Средней Азии, скорее имеет отношение к местным народным верованиям и суевериям, чем к исламу какого бы то ни было толка.

Марши и хоры „мусульманского возрождения“, гремящие сейчас в Иране и многих арабских странах, конечно, слышны и в советской Средней Азии, - радиотехника стоит и там достаточно высоко, - но не производят сколько-нибудь заметного впечатле-

ния. Политическая, общественная и религиозная проблематика зарубежного „мусульманского возрождения“ не интересует жителей Таджикистана. Простой народ давно принимает за ислам ту совокупность традиционных обычаев, бытовых навыков, запретов и суеверий, которую он, народ, исчерпывающе емко называет „наш закон“ и которую сам характеризует обычно в разговорах с европейцами так: - Э, наш закон плохой. Русский закон хороший. - Эта смелая самокритика, довольно часто звучащая, не мешает однако „нашему закону“ диктовать свою волю огромному множеству людей, поскольку люди эти сохранили рудиментарную средневековую психологию и, значит, не мыслят себя в конфликте с обществом и его обычаями.

Со своим „законом“ простой таджик не чувствует себя ни на йоту глупее, беднее или в чем-то хуже русского: практичный и здоровый человек, он не страдает комплексом неполноценности. Зато этим комплексом, который есть важная предпосылка современного „мусульманского возрождения“, щедро наделена таджикская интеллигенция, - им она расплачивается за несправедливо полученные, ей самой не в прок идущие, привилегии. Национализм, который потаенно исповедует таджикская интеллигенция, облачен в декоративные историко-культурные, а не религиозные одежды. Исламом и его проблематикой эта интеллигенция интересуется мало.

ТРАЙБАЛИЗМ

Когда знакомятся два таджика - едва ли не первый вопрос, который они выясняют, касается их происхождения. То есть, откуда родом каждый. И если оказывается, что оба происходят из одного селения, города или района - это воспринимается не как приятная случайность, но как основа взаимной поддержки и оказания различных услуг. Земляк вправе ждать от земляка помощи, земляк обязан помогать земляку. Таджики считают это самоочевидным.

Казалось бы, в этом нет ничего особенного: принципы земляческой солидарности и взаимопомощи известны во всем мире, и с той или иной степенью эффективности действуют повсюду. Но в Таджикистане земляческая солидарность имеет особый характер, - в этом смысле советская среднеазиатская респуб-

лика больше всего напоминает африканские государства, бывшие колонии, население которых не составляет единый народ, а состоит из различных племён. Это особенно странно, если вспомнить, что таджикский национализм противопоставляет таджиков другим народам Средней Азии именно как единый народ, как этническую, культурную и историческую целостность. Но вот - живя в Таджикистане, разъезжая по стране и знакомясь с ее землями и городами, слушая разговоры людей об их земляках и жителях других мест - то есть не земляках, „чужих“ - начинаешь сомневаться: да полно, точно ли это один народ? Уж очень многое напоминает Конго или Берег Слоновой Кости: каждое племя считает себя лучшим и чистым, каждый начальник комплектует свое ведомство из представителей родного племени. Расчленение общества на племена, трибы - трайбализм.

Между Ленинабадом и Ура-Тюбе - километров 60, но эти города почему-то испытывают друг к другу традиционную давнюю неприязнь (сколь давнюю? Ходжент, возможно, был основан Александром Македонским, а Ура-Тюбе уже тогда существовал, и Александр брал его штурмом. Не с тех ли пор?). Ленинабадцы утверждают, что жители Ура-Тюбе - люди грубые и несдержанные, склонные к нарушению законов и реакционные: женщин своих держат взаперти. Ура-тюбинцы не возражают против репутации эдаких таджикских запорожцев, а ленинабадцев презирают и не считают настоящими таджиками. В Ура-Тюбе мне рассказали, что однажды по недомыслию к ним назначили прокурора-ленинабадца. Город был, естественно, возмущен и принял меры для выдворения нежелательного юриста: каждое утро, выходя на крыльцо своего дома, прокурор обнаруживал свежий труп. В Ура-Тюбе считают, что ленинабадцы от природы недогадливы, и новый прокурор понял намек местной общественности не сразу, а только где-то на шестом трупе. После чего уехал, не мешкая, за назначением в более спокойный город. Не ручаюсь, что эта история абсолютно правдива, но мне она была поведана всерьез и типична, во-первых, для ура-тюбинского темперамента, во-вторых, - для отношения к соседям-ленинабадцам. Другой случай, аналогичный и вполне достоверный, закончился и в самом деле трагически. В город Куляб, что в южном Таджикистане, был назначен секретарем горкома партии не местный уроженец, а опять-таки ленинабадец. Трупов не подкладывали (кулябинцы не отличаются фантазией), но его самого дня через

два после прибытия удушили телефонным проводом в номере гостиницы.

Принадлежность к тому или иному клану (трибе) достаточно четко прослеживается и в республиканском руководстве высшего и среднего уровня. По племенному составу работников того или иного ведомства можно безошибочно определить происхождение начальника этого ведомства. Самая влиятельная триба - ленинабадская, ее представители главенствовали в партийных и советских верхах, в Академии наук и большинстве министерств. Ленинабадец - при прочих равных условиях - легче достигал высокого поста и власти, особенно если ему с самого начала помогали продвигаться земляки, сами уже занимающие выдающееся общественное положение. А такие земляки есть почти у каждого ленинабадца, так как город этот сравнительно невелик. Вот довольно характерная история карьеры интеллигента-ленинабадца, случившаяся, можно сказать, на моих глазах.

Кахрамон Ашуров (кахрамон в переводе на русский - герой) был сыном влиятельного ленинабадского юриста. Почему-то папа решил сделать из него архитектора, и он поступил - сравнительно поздно - на архитектурное отделение политехнического института. Это был крупный представительный мужчина с прямоугольным грубым лицом и ежиком рано седеющих жестких волос. Говорил басом. Был до чрезвычайности ленив, глуп и самоуверен (для последнего качества имелись основания). „Прочувшись“ года два, он исчез из института и вскоре объявился в должности районного архитектора сперва в одном, потом в другом районе. Как он получил этот пост, требующий диплома архитектора, - осталось тайной. Для Кахрамона, однако, это было только началом, - все с тем же незаконченным двухлетним высшим образованием он неожиданно возглавил республиканскую Инспекцию охраны памятников архитектуры. На этот высокий пост в Министерстве культуры его принял замминистра Шарипов, - конечно, ленинабадец, - враг министра-памирца. Тут он проначальствовал около года, успел испортить неграмотной реставрацией несколько архитектурных памятников и немислимыми распоряжениями, грубостью и тупостью возбудить устойчивую ненависть к себе у всех сотрудников. Наконец, сотрудники взбунтовались и потребовали у министра смещения Кахрамона. Что министр с удовольствием и сделал, предварительно устроив

Кахрамону что-то вроде экзамена и быстро убедившись, что тот не знает ни числа памятников, ни их названий. В другое время министру это не удалось бы так легко, - за земляка непременно вступился бы Шарипов, - но как раз в это время на Кахрамона завели судебное дело по причине неотдачи многочисленных долгов и умыкания чьей-то шапки. Из Ленинабада прибыл папа, расплатился с должниками и замаял дело, а Кахрамона вернул на студенческую скамью в Политехнический институт. При этом папа сказал: - Ему бы только диплом получить. Каримова - подруга моей жены, она Кахрамона сразу большим начальником сделает (Махфират Каримова была тогда заместителем председателя Совета Министров).

Кахрамон снова стал студентом. За эти годы он не сделал сам ни одного проекта, - заказывал их за деньги опытным архитекторам, а те не делали из этого тайны. Преподаватели посмеивались, но оценки выставляли. С преподавателями бывший начальник был приторно любезен и на государственные праздники преподносил им поздравительные открытки с типовым подхалимским текстом. На защите дипломного проекта чуть было не случилась осечка: архитектор, член экзаменационной комиссии, вдруг угадал среди представленных чертежей свой собственный чертеж, к тому же не имеющий никакого отношения к теме проекта. Он поднял было крик, кто-то потребовал отменить защиту, но тут взмолился ректор института Н.Х. Якубов: Кахрамон учится уже 10 лет, всем надоел, ну его к черту, неужели с ним еще и дальше возиться? Давайте выпустим его хоть как-нибудь. - И выпустили Кахрамона архитектором.

Получив желанный диплом, Кахрамон попытался ворваться в науку. Он явился к единственному в Душанбе историку архитектуры и изъявил желание писать под его, историка, руководством диссертацию на историческую тему. Потрясенный историк попробовал объяснить ему трудности пути и недостаточность его знаний, на что Кахрамон бодро отвечал: „Ничего, подучусь“. Лишь когда историк архитектуры прямо заявил Кахрамону, что не намерен ничего за него писать, тот потерял интерес к научной карьере. И попытался вернуться в министерство культуры, но встретил там дружный отпор, после чего устроился на должность заместителя начальника по хозяйственной части (то есть попросту завхоза) в небольшую архитектурную организацию „Коммунпроект“. Встречаясь с бывшими преподавателями и знакомыми

архитекторами, он неизменно предлагал им свои услуги на предмет добычи дефицитных материалов со складов „Коммун-проекта“. Однажды я встретил Кахрамона в городе. Своим начальственным басом он поведал мне, что покидает „Коммун-проект“, так как его берут в аппарат ЦК на должность референта по вопросам архитектуры и строительства. Что-то, однако, на самом верху не сработало, и вместо ЦК Кахрамон - всем на удивление - оказался преподавателем того самого архитектурного отделения Политехнического института, которое он так долго заканчивал и так своеобразно закончил. И принял его на работу тот самый ректор Якубов, который так мечтал избавиться от него как от студента. Ректор, когда его спрашивали об этом, только молча крутил головой и поднимал глаза вверх, намекая на высшие сферы. А Кахрамон „преподавал“ больше года, потешая студентов - и таджиков, и русских - речами о дисциплине и полным незнанием элементарнейших понятий об архитектуре. Наконец - неслыханная вещь в советском вузе - студенты взбунтовались и на общем собрании потребовали удаления Кахрамона. Что ректор (я думаю, не без злорадного удовольствия) и сделал.

Не знаю, чем теперь занят Кахрамон. Может быть, папа и папины друзья добились для него места референта в ЦК или какого-нибудь аналогичного поста с высокой зарплатой и низкой утомляемостью. Но, как говорилось, судьба его кажется типичной: он с ранних лет видел себя предназначенным к руководящей деятельности, - и только потому, что принадлежал к ленинабадской трибе, ее элитарному, влиятельному слою.

Представитель того же слоя - упомянутый Шарипов, человек столь же властный, сколь невежественный. На своем посту он несколько лет „копал“ под своего шефа-памирца, надеясь занять его министерское кресло. Не добившись своего (памирская триба тоже не лыком шита), он, в конечном счете, преуспел еще больше: был назначен заведующим отделом культуры ЦК КП Таджикистана, а это пост еще более высокий, чем министра культуры.

В годы моей жизни в Таджикистане второй по значению трибой здесь была памирская. Стояла она несколько особняком, так как памирцы - не таджики, а таджикизированные шугнанцы, рушанцы и представители других малых народов западного Памира. Это, как упоминалось, от природы сильные и по-евро-

пейски красивые люди, суровые условия жизни на родине научили их энергии, предприимчивости и упорству в достижении цели. Они, кроме того, в меньшей мере связаны обычаями и традициями „нашего закона“. Поэтому памирцы, сравнительно малочисленные, играют (или играли) большую роль в партийно-государственной, хозяйственной и особенно культурной жизни Таджикистана. Лет 15 назад члены памирской трибы занимали такие важные посты (я называю здесь, конечно, только очень немногих): Назаров - министр культуры, Мамадназаров - управляющий делами Совмина, Юсуфбеков - зампред Совмина, Искандаров - директор института истории Академии наук, Додихудоев - завсектором философии АН. Держатся памирцы сплоченно, и - следствие малочисленности и пережиток родового строя - в их трибе нет тех внутренних слоев-каст, какие есть у ленинабадцев. Заметное вытеснение памирцев с руководящих постов в республике связано, может быть, с ростом таджикского национализма, который чутко ощущает некоторую внутреннюю, психологическую и культурную „особость“ памирцев и не признает их целиком своими. Во всяком случае, импозантный и величественный Худойназар Мамадназаров был из управделами Совмина переведен в мэры города Душанбе - хоть и почетное, но понижение, - а с этого поста был неожиданно и резко сброшен до директора техникума. Бывший министр культуры Мехрубон Назаров выглядел как слегка разжиревший американский киногерой: рост, осанка, сверкающая улыбка. Дипломатичный, хитрый и умный, наживавшийся на всем, что позволяло ему его „ненаваристое“ министерство - на инспекционных поездках по культурным очагам республики (министр вешает пиджак на спинку стула, а потом во внутренних карманах вдруг оказываются деньги, и немалые), на деятельности реставрационных мастерских при министерстве, на репертуаре театров и концертных бригад, на желании авторов пьес увидеть их, наконец, на сцене. Он и сам сочинял пьесы, идя по пути первого наркома культуры Луначарского, - писал за недосугом, конечно, не он, а уже знакомый нам доцент университета; министр пьесы подписывал и ставил во вверенных ему театрах.

Человек умный и дальновидный, Назаров, вероятно, почувствовал, что памирская триба вступает в полосу гонений, и принял заблаговременно меры. Он основал „институт искусств“ для обучения национальным формам музыки, пения и танца;

выждав подходящий момент, покинул пост министра и стал директором этого института. Так как театры ему более не подчинялись, он перестал писать пьесы, лишив нашего доцента некоторой части его доходов. Своей скромной должностью он доволен и сохранил неизменное уважение работников культуры. На высшем уровне власти в Таджикистане памирцев почти не осталось, но на среднем уровне их еще довольно много. И среди абитуриентов, желающих поступить в душанбинские институты и университет, число памирцев неизменно остается довольно высоким, и учатся они по большей части старательно. Прочие трибы меньше и играют соответственно меньшие роли. Канибадам имеет репутацию города с неустойчивой и вообще сомнительной моралью, потому что отсюда родом особенно много актрис, певиц и танцовщиц, а согласно „нашему закону“ публично выступающая женщина не может быть вполне порядочной. Канибадамцы, действительно, склонны к искусству и среди представителей „свободных профессий“ канибадамцев - как женщин, так и мужчин - довольно много. Уроженцы и других городов - Куляба, Пенджикента, Ура-Тюбе, Исфары - стараются держаться сплоченными землячествами, поддерживают друг друга в служебных и бытовых конфликтах, и если кто-либо из них выбивается в начальники - быстро накапливаются вокруг него. В вузах, например, индивидуальные стычки между студентами нередко перерастают в массовые баталии даже с привлечением милиции, - в ночном бою триба идет на трибу, и наутро душанбинцы темпераментно обсуждают сражение между, к примеру, кулябцами и ура-тюбинцами, выясняют количество госпитализированных бойцов.

Душанбинской трибы не существует: в прошлом небольшой кишлак, Душанбе, став столицей, был укомплектован жителями всех областей Таджикистана, не говоря уж о русских. И каждый таджик, душанбинец в третьем или даже четвертом поколении, отлично знает свое происхождение. И браки среди интеллигенции в Душанбе совершаются все еще на родо-племенной основе, хотя обычай этот за последние годы часто и нарушается: дети из высокопоставленных „номенклатурных“ семей женятся - по совету родителей или с их согласия - из расчета не общности трибы, а одинакового общественного статуса семей. Пока, однако, это происходит в достаточно узком кругу.

Земляческие связи и связанные с ними обязанности в значи-

тельной мере определяют отношения в среде таджикской интеллигенции. Нередко они даже сильнее личных симпатий и антипатий. Так президент таджикской Академии наук Мухаммед Сейфеддинович Асимов, человек незаурядного ума, обширных знаний, долгие годы всячески поддерживает и продвигает Нумана Негматова, про которого всем известно, что он полуневежда и подлец. Поддержка президента объясняется только тем, что Негматов, как и он, - ленинабадец.

НЕСКОЛЬКО НЕВЫДУМАННЫХ ИСТОРИЙ

1. Бухара, 1952 год. Мы - несколько москвичей и ташкентцев - приехали на раскопки Варахши, древней резиденции бухарских правителей, отстоящей от самой Бухары километрах в 40. С нами поехал директор бухарской библиотеки имени Ибн Сины, Алимшо Хамрошоевич Шоев - коренной бухарец, потомок старинного аристократического рода, худощавый и элегантный, отменно воспитанный. Руководитель раскопок В.А. Шишкин долго водил нас по руинам огромного дворца, показывал покои с остатками резного алебастрового убранства, зал с настенной росписью, изображающей белых слонов с царственными седоками, грифонов и леопардов, парадный двор с лоджией-эстрадой и много других чудес. Шоев внимательно слушал объяснения, задавал толковые вопросы и рассуждал о виденном, демонстрируя приличное знание истории. А потом отвел меня подальше в сторону и озабоченно спросил: - Как Вы думаете, не нагорит Шишкину? Хороший человек, как бы не пострадал. - Время тогда было известно какое, но за раскопки, к тому же успешные, даже тогда не сажали. Я, по крайней мере, таких случаев не знал. Поэтому удивился и спросил: - За что же ему может нагореть? - А как же! Ведь вот уже сколько лет копает, а золота не нашёл.

2. Ленинабад, 1955 год. Экзамен по истории КПСС в ленинабадском педагогическом институте. Экзаменуются студенты-заочники, совсем не похожие на студентов: это - люди солидные, немолодые, обремененные семьями и животами, занимающие более или менее ответственные посты. И институтские дипломы жизненно необходимы им для того, чтобы эти посты сохранить, - иначе, свободно сгонят опытного работника с его прекрас-

ной должности где-нибудь в райпотребсоюзе, а на его место пришлют молодого нахала с дипломом. Нет у этих заочников ни охоты, ни сил чему-нибудь учиться, вот и маются они в душном помещении, отдуваются, исходят потом, пишут что-то корявым почерком в тетрадках.

Экзаменаторов двое: таджик и русский. Последний, как и подавляющее большинство живущих в Таджикистане русских, таджикского языка не знает, - ни к чему ему. Русский сидит рядом с коллегой-таджиком и слушает, как бодро и уверенно, совсем без запинки держит речь экзаменующийся усатый заочник. Правда, говорит он по-таджикски, но материал, видно, хорошо знает, в конспект не заглядывает, речь его течет плавно и среди речи время от времени слышится: - Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. - Скажет две-три фразы, - и снова - Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. - И снова, с умеренными перерывами. Слыша хорошо знакомые имена, русский преподаватель довольно кивает головой. Как вдруг экзаменатор-таджик прерывает бодрую речь заочника криком: - Вон отсюда! - Заочник тотчас исчезает. А удивленный русский спрашивает таджикского коллегу, что случилось и за что он выгнал так хорошо отвечавшего человека. Таджик ехидно смеется: - Да Вы знаете, что он говорил? Нет, конечно, ведь Вы по-нашему не умеете... А „отвечал“ он вот что: - Муаллим (учитель), пожалуйста, поставьте мне тройку, Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин. Э, муаллим, работы было много, совсем не мог подготовиться, Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин. Детей восемь штук и все болеют, и жена в гости к родителям уехала, и учебники я где достану, Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин? Очень прошу, муаллим, войдите в положение, тройку поставьте, пожалуйста, не губите, Маркс-Энгельс-Ленин-Сталин.

3. Калаи-Хумбский район в предгорьях Памира, 60-е годы. В сельской школе нет учителя английского языка, хотя этот предмет значится в школьной программе. Казалось бы, беда невелика, - кому здесь нужен английский язык, если даже в Душанбе мало кто из абитуриентов знает его толком? Однако для директора школы это - источник неприятностей и беспокойств: „порядок должен быть“ - не только немецкое изречение. И вдруг - о радость! - приходит сравнительно молодой человек, по национальности чеченец. Он - учитель английского языка и согласен работать. Предъявляет соответствующие документы. Они в порядке. Счастливый директор мчится в РОНО и все мигом устра-

ивает. Новый учитель приступает к делу и за короткое время доказывает, что он действительно хороший педагог, отдающий все силы и время любимому предмету. Работать ему, правда, нелегко, так как в дальнем горном селе нет учебников английского языка. Учителю приходится все делать самому: придумывать упражнения, объяснять грамматику, ставить произношение и пр. Но добросовестный труд приносит свои плоды, и спустя какое-то время сельские школьники начинают бойко изъясняться по-английски, вызывая этим восторг не только у родителей и земляков, но и у многочисленных комиссий, которые приезжают время от времени проверять работу школы. Комиссии хвалят „англичанина“ и ставят его в пример другим учителям. Так проходит несколько лет, в течение которых юное население села всем на удивление начинает изъясняться по-английски. Катастрофа пришла неожиданно вместе с очередной комиссией, в которой случайно оказался человек, знающий английский. Некоторое время он прислушивался к говору школьников и их учителя, а потом сообразил, что ничего не понимает. Выяснилось, что добросовестный и способный учитель учил ребятишек села вместо английского родному чеченскому языку, выдавая за английский. И учил так успешно, что, говорят, и теперь многие молодые жители этого села довольно свободно общаются друг с другом по-чеченски.

4. Душанбе, 70-е годы. Общее собрание Института истории Академии наук, посвященное состоянию научно-шефской работы института. Эта работа состоит в том, что каждый научный сотрудник института обязан ежегодно прочитать определенное количество лекций и научно-популярных докладов на предприятиях, в колхозах, совхозах, учреждениях и т.п. План работы, составленный сотрудником, утверждает руководство института. Ответственный за научно-шефскую работу Антоненко говорит: - В этом деле у нас, товарищи, наряду с несомненными успехами еще есть и недостатки. Не все еще понимают важность шефской работы среди населения. Вот, например, товарищ Хамидов систематически не выполняет свой план по лекциям. Не далее как неделю назад я ему говорю: товарищ Хамидов, завтра Вам нужно будет поехать в такой-то колхоз, прочитать там лекцию. А он мне отвечает: - Не поеду. - Я говорю: - Как не поеду, ведь это научно-шефская работа, ведь все мы обязаны нести знания в народ. - А он: - Не поеду, и все. - Так и не поехал. Это,

товарищи, вопиющее безобразие. Я предлагаю товарища Хамидова наказать!

Вскакивает разгневанный Хамидов: - Товарищи, я хочу внести ясность. Неправду не надо говорить. Как было дело? Он ко мне сразу подошел, говорит: завтра едешь в колхоз. Я говорю: как завтра в колхоз? Почему раньше не предупредил? Завтра у меня дела. Потом поеду. А он на принцип пошел, говорит: нет, завтра поедешь. Тут я, конечно, тоже на принцип пошел и говорю: обязательно не поеду. Он дальше на принцип пошел и говорит: поедешь или жалеть будешь. И я дальше на принцип пошел и говорю: пускай жалеть буду, а завтра не поеду. Тут он...

Поднимается с председательского места директор Искандаров - маленький, толстый, добрейший человек со свирепыми кустистыми бровями. И произносит с певучим памирским акцентом, предметом насмешек настоящих таджиков: - Товарищи, не понимаю, какой может быть принцип в общественно-политической работе!

5. Ленинабад, 60-е годы. Свадьба. Женится тот самый археолог, который так долго искал жену. Мы приглашены. Во дворе расставлены длинные столы, на них уже стоит и лежит все, что полагается, но гостей - несмотря на довольно позднее время - к столу не зовут. Голодные гости смиренно ждут и не ропщут, потому что причина вполне уважительная: еще не явился главный гость, ленинабадский писатель Рахим Джалил. (Когда он, наконец, придет, его встретят аплодисментами, и жених-археолог тоже будет восторженно хлопать в ладоши). Скучно сидеть без дела, и моя жена пошла на кухню, - на подмогу местным дамам, которые там еще что-то напоследок пекли и жарили. Там она, к своему удивлению, обнаружила супругу Рахима Джалила: она, не чинясь, пришла пораньше, чтобы помочь по хозяйству. Начался дамский разговор, во время которого моя жена сказала, что ее муж, то есть я, когда-то перевел на русский язык стихотворение Рахима Джалила „Весна в горах“. Писательская жена несколько высокомерно заметила, что ее муж больше стихов не пишет, а пишет толстые романы в прозе (я однажды пробовал читать один такой рахим-джалиловский роман. Более несъедобную пищу немислимо себе представить. К литературе она имеет то же отношение, что витринный манекен к живому человеку). Моя жена сказала, что это жаль: переведенные стихи,

насколько она помнит, были красивые и талантливые. Почему же не сочинять хорошие стихи и далее, параллельно с писанием романов? На это мадам Джалил ответила так: - Э, не надо. Стихи что? Один раз напечатал, копейки получил, и дальше что? Ничего дальше. Потом опять никто не печатает. А роман - сразу большие деньги идут, потом новое издание - опять совсем большие деньги. И книга толстая, хорошая, кому надо - можно подарить. Нет, чем стихи, романы лучше. На стихи зачем время тратить?

6. Душанбе, 70-е годы. Республиканская библиотека имени Фирдоуси. В научном читальном зале вижу молодого человека, обложенного толстыми подшивками старых газет, ворохами пожелтевших журналов и брошюр. Молодой человек целыми страницами выписывает что-то в тетради. Работает усидчиво, от дела отрывается редко и только по необходимости. В одну из таких редких пауз познакомились и разговорились. Оказалось - аспирант, татарин, работает над диссертацией „Развитие народного образования в Таджикистане с 1950 по 1960 годы“. Я спросил, почему именно эти годы, - полагая, что, может быть, как раз в этот период в народном образовании Таджикистана произошло что-то особенно важное. Но аспирант понял вопрос иначе, с точки зрения, так сказать, не качества, а количества. Тяжело вздохнув, он сказал: - Конечно, таджикам легче. Таджики дали бы тему на пять лет. А я татарин, - хоть и мусульманин, а не свой. Вот и должен собирать материал на целых 10 лет, в два раза больше работы. Ничего, соберу, кандидатом-то стать надо.

Сеид Бешарми (псевдоним) – писатель и архитектор. Живет в Берлине с 1986 г.

Бен-Барух

РИТМ

Странен четвертый день творения. Словно описав первые три дня, автор Шестоднева спохватился: забыл описать сотворение небесных тел. И немедленно описал – после света и тьмы. И, словно оправдываясь, объяснил, зачем, собственно, они нужны: чтобы светить на землю, а также для управления днем и ночью и еще – для знаков и сроков, дней и годов.

Когда наш современник говорит „мироздание“, он имеет в виду пространство, заполненное телами, и законы, по которым тела взаимодействуют друг с другом во времени. Он знает расстояние между солнцем и землей и время, за которое свет проходит это расстояние, а также расстояние между домом и работой и время, необходимое для его преодоления.

Автор Шестоднева видел мироздание несколько иначе. Вряд ли мы смогли бы объяснить ему разницу между пространством и временем. Ведь его время определялось положением солнца, луны и звезд, а расстояния он соотносил со сменой дня и ночи: столько-то дней пути. Да и вся его деятельность соотносилась не со временем, а с ритмами: дневным, месячным, годовым.

Нам это трудно представить, потому что мы раздробили ритм на неразличимые доли. Нет разницы между минутой утренней и дневной, вечерней и ночной. Нет разницы между сутками летними и зимними: те же 24 часа, 1440 минут, 86 400 секунд.

Мысль, что солнце предшествует свету, показалось бы автору Шестоднева такой же забавной нелепостью, как для нас – часы, предшествующие времени. Солнце, испускающее всегда один и тот же свет, – это все равно, что для нас часы без циферблата.

До четвертого дня день и ночь сменяли друг друга вообще, как-то. С вечера пятого дня земное мироздание подчинилось ритму, обозначенному движением небесных светил, сотворенных специально для этой цели. И уже наутро появились первые исполнители ритма: твари водяные и воздушные. В шестой же день „оркестр“ жизни был укомплектован полностью, включая художественного руководителя и дирижера. И тут автор Шестоднева еще раз сопровождает творение мотивировкой: человек сотворен, чтобы властвовать живыми тварями. Иначе говоря, его функция параллельна функции небесных светил, управляющих земным мирозданием посредством смены дня и ночи, знаков и сроков, дней и годов, то есть – посредством ритма существования.

„Время всякой вещи под солнцем“. Наш современник сказал бы иначе: есть причина всякой вещи. Для него мироздание – это закономерная последовательность событий. Экклезиаст же имеет в виду нечто иное. Событие может произойти вовремя или не вовремя. Из того, что событие произошло, из того, что оно не могло не произойти, вовсе не следует его своевременность. Этот существенный аспект происходящего совершенно выпадает из современного представления о мироздании. А для Экклезиаста ритмичность происходящего была важнее его причинной последовательности. С этой точки зрения, не то беда, что человек съел плод дерева познания, а то беда, что не вовремя. Ему бы подождать, пока сам не созреет.

Познание зла приобретается как бы само собой. А над познанием добра бились величайшие гении человечества. И нельзя сказать, что с большим успехом. Почему так?

Первый ответ: не в том дело, что человеку трудно познать добро, а в том, что не больно-то он этого хочет. Есть в нем какая-то изначальная червоточинка: „помыслы человека на зло юности его“. Однако, немалое зло происходит именно от стремления к добру. То есть не от нежелания добра, а как раз от незнания его.

Второй ответ: все дело в недостатке знания. Чем больше человек будет знать, тем ближе окажется к познанию добра. И вот человек узнал ужас как много. Выпускник школы знает столько, сколько и не снилось царю мудрецов Соломону. Но ближе ли он к познанию добра, чем Соломон?

А что, если дело в самом способе познания, которым мы пользуемся со времен Адама? А ну, как сам этот способ более приспособлен к познанию зла, нежели к познанию добра?

Но что может быть общего между современным знанием и знанием Адама?

Первое познание было, как известно, познанием собственной наготы. То есть – телесности. Тело ограничено самим собой, отделено от всего, что не есть оно само. Тело словно вырезано из общности бытия и тем противопоставлено общности. Эта ограниченность и противопоставленность и есть нагота в полном смысле слова, более широком, чем нагота половая. Познав свою телесность, человек познал свое одиночество в мироздании. Его телу противостоит весь остальной мир, и это страшно. Его тело вырвано из целостности мироздания, граница разрыва обнажена, и это стыдно. Негладкость, шероховатость, волосатость поверхности несколько приглушают резкость границы, отделяющей тело от всего остального. Но это лишь покровы присущей телу наготы.

Все, что человек узнал вслед за этим, явилось лишь развитием телесного познания мира. В самых современных знаниях телесность содержится как ядро в скорлупе. Даже когда речь идет о вещах, по-видимому, далеких от телесности. Так наше понятие о личности, о „я“ – это лишь модификация восприятия собственного тела. Личность точно так же ограничена собой и отделена от всего, что не есть она сама.

А что есть мировое пространство, как не разделенность тел? Или понятие о событии. События происходят с телами, разделенными пространством (хотя бы исчезающе малым). Если с телом что-то происходит, мы немедленно ищем другие тела, внешние телу, или те, из которых оно состоит. Эти микротела также разделены пространством. Тела влияют друг на друга, несмотря на разделенность, посредством различного рода сил, которые образуют силовые поля. Но и взаимные влияния тел разделены одно от другого. Такое единичное влияние и есть событие. Единичные события складываются в сложные, совсем как микротела – в макротело, а макротела – в системы тел, то есть в некоторое сверхтело, называемое вселенной.

Так и события складываются в бытие.

И что есть причинность, как не связь разделенных событий бытия? И что есть время, как не разделенность событий?

Каждое тело и каждое событие отделено от других тел и событий. Их взаимодействие осуществляется не иначе, как взаимное насилие, которому каждое из тел естественно сопротивляется.

Все наши знания сводятся к одному: какую силу и как следует приложить, чтобы произвести с известным телом известное событие, подчинив его известному действию. Этот гносеологический принцип осуществляется в самых разных областях жизни: в отношениях гражданских и военных, производственных, общественных и семейных, в рекламе и торговле, в науке и искусстве. И всегда, помимо тел, объектом и субъектом насилия оказывается тело человека, и физическое, и духовное. Иначе говоря, вооруженный телесным знанием человек необходимо оказывается и носителем зла, и его жертвой. А началось телесное знание с познания собственной наготы.

Такое знание не может не печалить. Но разница между Экклезиастом и нашим современником состоит в том, что первого печалило само такое знание, а последнего – главным образом, его непредвиденные последствия. Первый чувствовал ущербность своего способа познания, а последний – по уши им доволен, можно даже сказать – влюблен. Ибо телесный способ познания восходит к восприятию собственного тела, он нарциссичен.

Даже воспринимая иное тело, мы воспринимаем его посредством своего тела, усваиваем его своему телу. В восприятии иное тело становится частью нашего тела: „и будут одна плоть“, „и познал Адам жену“. Половое усвоение телом тела – это лишь частный случай телесного познания. Аналогично человек относится и к прочим телам, отсюда – чувство собственности и потребность приобрести, овладеть. Интерес к иным телам – это способ проявить собственную телесность.

И здесь возникает любопытный эффект: в восприятии иного тела присутствует и тело воспринимающее, и эта двойственность может восприниматься двояко: можно воспринять иное тело посредством своего, а можно – свое посредством иного. Это подобно тому, как, глядя в воду, видишь и воду, и себя в воде. Одно и то же восприятие может быть интерпретировано

противоположно, в зависимости от внутренней установки воспринимающего.

История с Нарциссом свидетельствует о том, что в древности нарциссическая установка была исключением из правила. Обычно собственное отражение не мешало древнему человеку видеть воду.

Нынче же нарциссическая установка весьма и весьма распространялась. И познание превратилось в любование самим способом познания, то есть – в самолюбование. Если антропоморфизм древнего знания был наивным, а люди полагали, что оно и вправду – так, то наш современник даже и не интересуется, как оно – само по себе, потому что ясно сознает ограниченность своего познания собой самим. Когда древний художник очеловечивал окружающий мир, он все-таки имел в виду реальность окружающего мира. Сегодня, что бы художник ни изображал, он имеет в виду прежде всего самого себя.

При такой установке телесного познания иное тело выродилось в знак. Но и знак условен, ибо выражает не столько иное тело, сколько отношение к нему познающего. Способ познания совершенно заслонил предмет познания. Современная модификация телесного познания превратилась в знаковые игры, правила которых устанавливаются, исходя из свойств самой игры, при этом реальность иного тела – даже не предмет игры, но лишь поле для нее.

Символику, опять-таки, изобрели древние, ибо пользовались тем же способом познания, что и мы. Но они-то имели в виду реальность иного тела и употребляли символы отнюдь не произвольно. Древний символ так хорошо подогнан к реальности, что и сегодня им можно пользоваться. Современные же символы подгоняются не к предмету познания, а к текущему моменту познавательной деятельности.

Ведь и язык – система символов, и слово – знак. Основной корпус языка сформировался тысячи лет назад и служит по сей день. А производные языки (научные жаргоны, например) служат от силы – год и устаревают, ибо произвольны.

В современных знаковых играх знаком может стать что угодно. При этом любое сочетание признается значимым. А если какое сочетание абсурдно или бессмысленно, то, во-первых, всегда можно объяснить, что имел в виду автор, пользуясь конвенцио-

нальными обозначениями, а во-вторых, это говорит об индивидуальной неповторимости авторского мира. Ведь и он замкнут на себя... как тело.

А коли так, творчество не может быть ничем иным, кроме автобиографии.

Но разве Леонардо, например, рассказывал не о себе? С помощью компьютера удалось доказать, что Джоконда – это автопортрет. Современный художник просто избегает таких любовых решений. Он тоже занимается исключительно автопортретом, но более тонко, более эксцентрично.

Например, даже с помощью компьютера трудно угадать, что унитаза на стене – тоже автопортрет. Но почему же нет? Ведь в руках художника унитаза – уже не приспособление для отправления больших и малых нужд, а знак. И как таковой, может обозначать, что угодно художнику. За этим знаком может скрываться личная трагедия, душевные бури, горечь утраты, экстаз освобождения, наконец, любовь. Художник подал нам знак. Остальное зависит от нашего воображения и художественного и душевного опыта. И если кто-то не понимает художественной выразительности, заключенной в унитаза, как в знаке, он просто ничего не понимает в современном искусстве. Зачем писать новую Джоконду, когда сегодня культурному человеку достаточно показать знак, дать легкий намек? Ведь и сама Джоконда – всего лишь один из бесчисленных знаков, содержащихся в памяти культурного человечества. Или, скажем, „Я помню чудное мгновенье...“ Да кто ж его нынче не помнит?

И вот, чтобы не стать плагиатом, искусство стало причудливыми наборами цитат, намеков, ссылок на культурные вехи, превратившиеся в культурные знаки. А чем же унитаза – не культурная вежа?

Леонардо, может, и написал автопортрет. Но не это он имел в виду. Просто так получилось. Глядя на Лизу, он, разумеется, видел свое отражение в ней. И изобразил. Увидел также и Лизу. И ее изобразил. Но мало ли на свете привлекательных женщин? Почему портрет оказался важнее прототипа? Почему на встречу с ним приходят люди со всех концов света? Знак – он ведь и на репродукции знак. Современные художники широко этим пользуются, вставляя репродукции в свои работы, и до-

стигают эстетического эффекта, не тратя на это месяцы и даже годы, как их предшественники. Над чем же трудились столько времени? Что с таким трудом пытаются изобразить? Неужели просто себя в модели?

Представьте себе кретина, для которого картина – это размер. Ведь нельзя сказать, что он слепой. У картины действительно есть размер. И не только у произведения в целом, но и у каждой его детали. Поэтому кретиновское искусствознание может быть и сложной, и тонкой наукой. Ведь и по размерам мельчайших деталей можно классифицировать картины и даже безошибочно отличить копию от оригинала.

Нечто подобное происходит и со знаками. Их можно выделить в любом произведении, сопоставить с другими произведениями, оценить ординарность или неординарность их сочетаний, построить хорошо аргументированные модели. При этом Джоконда с усами оказывается в одном ряду и даже чуть впереди Джоконды безусой, ибо новый знак (усы), в сочетании со знаком старины Леонардо, образует новое, более сложное и неординарное эстетическое впечатление. И все-таки, нужно быть уж очень продвинутым искусствоведам, чтобы перестать замечать всю кретиновность такого подхода.

Но что ему можно сегодня противопоставить? По-своему, он интеллектуально честен и безупречно последователен. Это не внезапное безумие, но результат длительного процесса, начавшегося тысячи лет назад. Этот дегенерат – законный потомок и наследник восходящего к Адаму способа познания. Ибо что есть знание, если не знак? Что мы знаем об иных телах, кроме знаков, которые сами же им сопоставляем? Знание состоит из знаков. Как бытие – из событий. Как вселенная – из тел.

„И было дней жизни Адама 930 лет, и он умер“.

Почему евреи делают обрезание?

Это знак нашего завета, – ответил рабби.

Во-первых, это красиво! – отрезала раббанит.

Странная штука – красота. Сколько ни пытались ее определить – ничего путного не вышло. Поэтому сегодня знающие люди избегают самого этого понятия. Ведь только невежды говорят о том, чего не знают.

Не знают? Разве человек неспособен отличить прекрасное от безобразного? Почему же, когда пытаешься определить, что именно имеешь в виду, говоря „это красиво“, получается какая-то жалкая чушь?

Второй ответ: потому что „красота“ не есть знание, а только некое приятное ощущение.

Первый ответ: потому что знание прекрасного выше знания определений и несводимо к знаку или к сочетанию знаков.

Третий ответ: потому что знание прекрасного происходит из иного мировосприятия, нежели знание знаковое.

Из иного мировосприятия? То есть не из телесного? А как же красота тела?!

Адам и Ева не увидели, что их тела красивы, а увидели, что – наги. То же увидел Мазаччо. А вот Микельанджело увидел, что – красивы.

Здесь тот же эффект, что и с отражением в воде: в восприятии присутствуют и красота, и нагота. Если установка – на тело, то красоты не видно, а только нагота. Если же установка на красоту, то видно и тело, и его красота.

Так вышло у Пигмалиона с Галатеей. Пораженный красотой тела, он изваял прекрасную статую. Пораженный телесностью прекрасной статуи, возжелал ее тело. Но если бы было наоборот, если бы телесное восприятие предшествовало художественному, Пигмалион не смог бы изваять прекрасную Галатею.

Главная из причин, почему современному художнику, как правило, не под силу изображение прекрасного, состоит именно в этом. Дитя своего времени, он сосредоточен на себе, своей личности, своих ощущениях, своем теле, поэтому и иное тело вызывает у него, главным образом, сексуальные эмоции. Отсюда – навязчивая сексуальность современного искусства. А также его автобиографичность, то есть автосексуальность.

Для видения красоты телу совершенно необходим фон, причем, далеко не любой. В отличие от наготы, красота не есть отделенность, противоположность, но единение и соположность. Например, не бывает прекрасных звуков, а только созвучия (даже отдельный звук превращается в созвучие на фоне других звуков или посредством резонанса). В прекрасном созвучии отдельные звуки не столько составляют его, сколько рождаются

из него. Когда звуки взаимно отталкиваются, это уже не симфония, а какофония. Так же ведут себя и тела. Либо их взаимодействие образует целостность (образуется из целостности), либо оказывается взаимным насилием и сопротивлением. В первом случае они прекрасны. Во втором – безобразны.

Прекрасными могут быть тела борцов. Но лишь тогда, когда борьба объединяет их, а не разделяет, когда борцы любят борьбу, а не себя в борьбе.

„Как аттический солдат в своего врага влюбленный“ – характерная для своего времени проговорка. С одной стороны, поэтическое видение борьбы, а с другой, – словно парафраз грубо-телесной сентенции „кого люблю, того и бью“. Увидено, что влюблен и что не в себя влюблен. Но если не в себя, то в кого? Не может быть любовь не к телу (душе)! Совсем как в физике или в криминологии: ищите другое тело, послужившее причиной (поводом, стимулом).

Еще характерная проговорка: „шум времени“.

Не может время шуметь, ибо однородно и равномерно. В крайнем случае – может монотонно тикать. Шум – это смешение множества независимых друг от друга звуков, являющихся, тем не менее, как некая звуковая общность. Поэт услышал шум общности происходящего. Но привычно отождествил происходящее со временем.

Не лист шумит. Шумит все дерево. Весь лес. Вся река. Все море... Вся жизнь.

Что бы ни происходило с элементом общности, в этом проявляется общность происходящего. Элементы различны, а то, что их объединяет, – это некий ритм происходящего вообще. Каждый элемент „исполняет“ его по-своему. Похоже на оркестр: каждый играет как бы свое, но вместе с тем, все исполняют одно и то же. А если одна партия выделяется, то либо это сольная, ведущая партия, либо исполнитель просто фальшивит.

То, что сегодня принято называть яркой индивидуальностью художника, нередко указывает на чудовищную фальшивость его творчества, такую интенсивную, что перекрывает все вокруг.

Теперь представьте себе симфонию, состоящую из огромного числа партий, которая, к тому же, сочиняется в процессе исполнения. Это будет похоже на существование.

Несмотря на незавершенность, у существования есть некий общий ритм, некоторая внутренняя логика (когда мы мыслим существование, логика – это ритм мышления). Ни одно из существ не „исполняет“ его целиком. Но его частное существование обусловлено его соответствием целостности ритма. Выбившись из ритма, существо выпадает из целостности существования. (Сегодня это звучит устрашающе, ибо под ритмом жизни понимается монотонность повседневности. Как рота, идущая форсированным маршем, и кто сбился с темпа, тот отстал, и своими силами ему роту уже не догнать. На самом же деле, ритм жизни бесконечно разнообразен, а главное – естествен, не навязан извне. Монотонность, рутина, навязанность – это как раз признаки выпадения из ритма жизни).

Красота не есть свойство тела, самого по себе. Тело красиво, когда его форма соритмична целостности существования. Форма, как граница тела, есть нагота. Но та же самая форма выражает ритм тела. Красивая форма соритмична целостности. Соответствие форм друг другу – это еще не красота. Такое соответствие может быть соразмерностью или функциональностью. Также и красота может быть и соразмерной, и функциональной, но суть ее не в этом, а в соритмичности существованию в целом.

Красота необъяснима. Потому что для ее объяснения требуется разложить ритм. Но разложенный ритм – уже не ритм и красота – уже не красота, а нагота. Прекрасно лишь соритмичное существованию в целом. И познание красоты основано на способности воспринимать целостность ритма существования, то есть на соритмичности восприятия существованию. Восприятие прекрасного само прекрасно.

Познание зла – это знание телесной ограниченности. Познание добра – это знание существенности тела, его сопричастности всему сущему.

Добро и красота соотносятся как зло и нагота. Ощутить наготу – значит познать зло мира. Ощутить красоту – значит познать добро.

Есть познание себя в сущем и есть познание сущего в себе. На что бы ни обратил человек свою познавательную способность, он наталкивается на отражение своей познавательной способ-

ности, то есть на отражение себя самого, и познает ограниченность своего познания. Но дело-то в том, что и, будучи ограниченной частью сущего, человек является носителем целостности сущего. И не только носителем, но и генератором целостного ритма. Ощутив этот ритм, человек познает сущее в себе.

Воспринимая сущее в себе, человек словно творит мир заново, в себе самом. Отсюда творческая способность (и даже потребность) человека. Ритм творчества соритмичен существованию и целостен. Поэтому, творя, человек творит целый мир, не меньше. Не по размеру целый и не по протяженности во времени, а по ритму. Ибо целостность не бывает ни большой, ни малой, ни долгой, ни краткой. Целостность не телесна, а ритмична. Тело целостно лишь постольку, поскольку соритмично целостности существования, и тогда оно равнозначно целому миру. И прекрасно.

Чувство прекрасного и способность творить прекрасное – это признаки человека, познающего сущее в себе самом.

Частично, ограниченно и наго творчество человека, познающего себя самого во всем, что он познает. Соотнося окружающее с собой, он как бы обрубаёт его по себе, делает таким же частичным, ограниченным и нагим, как и он сам. Его деятельность – это копия его самого в каждый момент его частной жизни. От сущего он отделен пустотой, которая является другой стороной наготы. Прочие тела давят его через эту пустоту своими силовыми полями. И нет у него с ними общего, кроме этой пустоты и силового поля, которым он давит другие тела, сопротивляясь их давлению. Словно целый мир, распавшись на отдельные тела, выдавливает его из существования, и единственный выход – это не быть, проклясть и исчезнуть.

Человек, познающий во всем одного себя, оказывается ловушкой для самого себя, воронкой, затягивающей в небытие и забвение. Словно утопающий, хватается он за соломины славы, богатства, власти и не может удержаться.

Жизнь и смерть, благословение и проклятие, добро и зло – это всего только различные установки мировосприятия. Одна незаметно переходит в другую, как вода и отражение в ней.

„Красота спасет мир“. От кого спасет? Не от человека ли?

Желание спасти мир – это желание спасти самого себя. Мир спасти не надо. Он лишен разделяющей человека двойственности мировосприятия. Мир – он и есть мир. А человек – лишь настолько человек, насколько восприимчив к красоте и добру, то есть к целостному ритму существования.

Представьте, что вы снимаете видеофильм несколькими камерами одновременно. Две камеры снимают с птичьего полета, две – в центре событий и еще две снимают вас самих. В каждой паре одна камера снимает крупный план, а другая – общий. Все шесть камер работают на один монитор. Получается... абракадабра.

Чтобы появилось изображение, нужно пропускать один, два сигнала, а остальные блокировать. А чтобы картина получилась максимально полной, нужно чередовать сигналы (камеры). Если этого не сделать, картина окажется либо понятной, но неполной, либо полной, но непонятной, либо совершенно бессмысленной. Произведение искусства – это способ запечатлеть множество частных восприятий таким образом, чтобы, сочетаясь друг с другом, они образовывали целостное восприятие. Это долгий труд. Потому что сочетание полноты и ясности вовсе не дано изначально. Его требуется образовать.

Произведение искусства включает в себе столько восприятий, сколько нельзя получить в частном акте восприятия. Частичное видение ясно, но весьма неполно. Если его воспроизвести, оно исчерпывается таким же беглым взглядом, из которого произошло. Полное же видение может быть весьма неясным. И тогда в его воспроизведении можно увидеть все, что угодно... то есть ничего. Все равно как на гладком листе.

Просто вывалив наружу свои восприятия, художник ничего, в сущности, не создал, не совершил творческий акт, который, как раз, и состоит в образовании восприятия, сочетающего полноту и ясность. Он словно говорит: разбирайтесь сами в этом месиве, а меня увольте, я сам ничего в нем не понимаю, а только выполняю общественную функцию художника – выносить мусор во двор.

Однозначность и всезначность – это две крайности.

Искусство началось с середины, но, под действием рефлексии, постепенно поляризовалось на массовое (все понятно) и элитарное (понятное немногим, а в сущности, одному, но вооб-

ще-то – никому). И на обоих полюсах творческий акт подменяется чисто техническим актом: воспроизведением восприятия. Получил восприятие и передал другому.

На самом деле, основная работа художника совершается, как раз, между приемом и передачей и состоит в композиции огромного множества восприятий. Именно на это уходит основная масса времени и труда.

Художественное восприятие тем и отличается от обычного, что в нем есть композиционное, ритмическое единство. При этом, восприятия конкретного объекта (а таких тоже несколько) составляют лишь часть общей композиции. В художественном восприятии потенциально присутствует весь мир, во всем объеме и во все периоды своего существования. Совершаясь в известном месте и в известное время, художественное восприятие не ограничено местом и временем.

Менее всего озабочен художник самовыражением.

Во-первых, оно совершается само собой, хотя бы и против его намерений. А во-вторых, самость – это другая форма телесной ограниченности и наготы.

Творчество не есть ни самовыражение, ни самовоспроизведение.

Это-то умеют и прочие животные...

*Февраль 1994 г.
Иерусалим*

Бен-Барух (псевдоним) – писатель и философ, живет в Иерусалиме с 1972 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Вл. Свирский

ДВА ИГРОКА

Первый – Александр Сергеевич Пушкин, столбовой дворянин, кутила и жизнелюб, придворный, познавший хвалу и клевету, царский гнев и царскую любовь, получавший в 1833 году – примерно в то время, о котором идет речь, – такое денежное содержание, какого не получал и Карамзин, и все-таки не вылезавший из долгов, женатый на красавице, отец уже двух детей, главный поэт России, известный и за ее пределами, основоположник... патриарх...

Второй – бедный военный инженер, сын обрусевшего немца, бережливый, не позволявший себе „малейшей прихоти“, живший на скромное жалование и никогда не имевший долгов, избежавший заблуждений молодости, холостой, без имени и отчества, с довольно странной фамилией, напоминающей скорее имя – Германн.

Казалось бы, – ничего общего. Но это только на первый взгляд.

Здесь нам предстоит экскурс в природу художественного творчества, а она такова, что писатель всегда делится со своими героями частицами „я“. „В твоих писаниях, – утверждал, обращаясь к собратьям по перу, У. Уитмен, – не может быть ни единой черты, которой не было бы в тебе самом. Если ты злой или пошлый, это не укроется... Если ты любишь, чтобы во время обеда за стулом у тебя стоял лакей, это скажется в твоих писаниях. Если ты брызга или завистник... или низменно смотришь на женщин, – это скажется даже в твоих умолчаниях, даже в том, чего ты не напишешь“.

Процесс этот чаще всего происходит независимо от воли

автора, даже вопреки ей. Писатели тоже люди, и им не свойственно сознательно выворачивать перед всем миром свою душу, заниматься самобичеванием, делать откровенные признания, какое сделал Н.В. Гоголь: „...все мои последние сочинения – история моей собственной души... Я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем, чем ни попало“.

У Пушкина мы подобных признаний не найдем. Свидетельства „наделения“ приходится искать самим. И тут услугу оказывают нам персонажи его произведений, которые характеризуют своего создателя ничуть не хуже, чем современники-друзья и современники-враги, критики и читатели. Как Пушкин создает образ Германна, так и Германн приоткрывает некоторые, довольно существенные черты своего создателя, заглядывает в такие уголки его натуры, куда обыкновенным смертным вход строго заказан.

Чем же поделился автор „Пиковой дамы“ со своим персонажем?

Укоренилось мнение, будто главное (а то и единственное), что получил герой повести от Пушкина – это эротический эпизод, тайное посещение „блистательной дамы“, о котором поэт под строгим секретом поведал Павлу Воиновичу Нащокину, а тот, не оправдав доверенности друга, рассказал в 1851 году П.И. Бартеневу.

Суть „устной новеллы“ Нащокина сводится к следующему. Поддавшись обаянию поэта, одна „блистательная дама“ назначила ему свидание в своем доме. „Вечером Пушкину удалось пробраться в ее великолепный дворец; по условию он лег под диваном в гостиной и должен был дожидаться ее приезда домой. Долго лежал он, теряя терпение, но оставить дело было уже невозможно, воротиться назад – опасно. Наконец после долгих ожиданий он слышит: подъехала карета. В доме засуетились. Двое лакеев внесли канделябры и осветили гостиную. Вошла хозяйка в сопровождении какой-то фрейлины: они возвращались из театра или из дворца. Через несколько минут разговора фрейлина уехала в той же карете. Хозяйка осталась одна. "Etes-

vous lá?"*, и Пушкин был перед нею. Они перешли в спальню... Начались восторги сладострастия..."

С годами будет названо и имя этой женщины – Дарья (Долли) Финкельмон, жена австрийского посланника. А во второй половине XX века Н.А. Раевский даже проделает путь, которым, якобы, вначале прошел сам автор „Пиковой дамы“, а затем провел своего героя. И обнаружит поразительное сходство: лестница, передняя, зала, гостиная... (См. Н.А. Раевский. Если заговорят портреты. Алма-Ата, 1965).

Ниже мы еще вернемся к этому преданию. Здесь же скажем, что считаем „устную новеллу“ Нащокина *второстепенной* в истории „Пиковой дамы“, уводящей исследователей творчества Пушкина на обочину литературоведения. По нашему мнению, у Германна и его создателя более глубокое родство, автор отдал своему персонажу нечто более существенное, чем многочасовое пребывание под диваном.

Что же общего между вулканической натурой Пушкина и немецкой рассудительностью Германна, его благородием?

Но разве персонаж „Пиковой дамы“ только педантичен, благороден и рассудителен? Разве он не следует голосу бушующей в нем страсти? Разве в борьбе благородия с эмоциями победу одерживает благородие?

А разве не в подобной непоследовательности, противоречивости суть характера Пушкина? „...мой характер – неровный, ревнивый, подозрительный, буйный и слабый одновременно“, – признавался поэт в письме к В.П. Зубкову.

Близко знавший Пушкина П.А. Плетнев писал: „Пылкость его души в слиянии с ясностью ума образовали из него это необыкновенное, даже странное существо, в котором все качества приняли вид крайностей“. Плетнев отметил и такую важную деталь характера поэта: „Он без малейшего сопротивления уступал влиянию одной минуты..., мгновенной силе обстоятельств“.

Не даром ели свой хлеб и те, кто наблюдал за поэтом по долгу службы. „Лишь минутное настроение руководит им в его действиях“, – определяет фон Фок.

Но ведь и Германн совершает свои поступки под влиянием

* Вы здесь? (фр.)

мгновенной силы обстоятельств. И его действиями руководит минутный порыв. И в нем „все качества приняли вид крайностей“

Нам могут возразить: но как быть с немецкой расчетливостью героя повести, с его благоразумием, рассудительностью? Эти черты и Пушкин – понятия несовместные. И все-таки – совместные. Да, Пушкин – пылкий, легкомысленный, необузданный, „сумасшедшая голова“... Но в то же время – об этом как-то не принято говорить, – в нем было сильно развито качество, которое в одном из вариантов „Евгения Онегина“ он назовет голосом „строгой необходимости земной“. Кто знает, не сказались ли здесь те же немецкие гены, ведь кроме африканской крови со стороны матери – в этом русском человеке текла и немецкая кровь со стороны отца.

Если и позволялось поэту проявлять эти качества, то только в небольших дозах и в те годы, когда он уже стал мужем и отцом. На самом же деле голос благоразумия начал звучать в нем довольно рано. Еще весной 1820 года, когда выяснилось, что Соловков удалось избежать, Пушкин стал настолько осторожен, что опасался встречаться с людьми, которые, как ему казалось, могли опорочить его перед правительством. А.И. Тургенев, принимавший самое непосредственное участие в судьбе поэта, с легкой усмешкой сообщал Вяземскому, что Пушкин, „чтобы не компрометировать себя, даже меня в публике избегает“. (Пушкин. Письма, т. 1, с. 204). В начале 1824 года благоразумие Пушкина проявилось в весьма неблагоприятном поступке. Речь идет об отказе посетить в Тираспольской крепости Владимира Раевского, „первого декабриста“, с которым он был в дружеских отношениях. Что бы ни говорили о причинах, побудивших его на такой шаг (угадал провокаторские намерения генерала Сабанеева, подозревал в том же грехе Липранди и даже такое: боялся повредить арестованному другу), – эти объяснения представляются нам надуманными, так сказать, оправдательными. На самом деле, главную роль сыграл голос „необходимости земной“: боялся повредить *себе*.

Думается, благоразумие оказалось даже сильнее суеверия Пушкина и шепнуло ему: „Вернись!“, когда он, как раз накануне восстания, собрался тайно навестить друзей в столице и уже отправился в путь. Можно, конечно, благодарить за случившееся попа или зайца. Но не будь благоразумия, Пушкин не обратил бы на них внимания (если вообще не выдумал их потом: не

случайно в одних воспоминаниях фигурируют один заяц, в других – два, а у М.И. Осиповой – даже три).

С годами борьба необузданности, горячности, минутного порыва с благоразумием продолжалась, причем победа явно склонялась в пользу последнего. В 1820 году осторожность Пушкина вызвала лишь усмешку А.И. Тургенева. В тридцать втором ему уже было не до смеха. В его „Дневнике“ появляется такая запись: „...В театре Михайловском государь и государыня... И Пушкины не пригласили меня в ложу... Итак, простите, друзья-сервилисты и друзья-либералы. „Я в лес хочу!“ (Пушкин в воспоминаниях, т. 2, с. 171).

Комментаторы „Дневника“ заклиная „понять“ поступок Пушкина: неприязнь царя к А. Тургеневу, сложные, натянутые отношения поэта со двором и даже угроза расценить приглашение в ложу как „очередной демократический акт“. Но мы понимаем не Пушкина, а болезненную реакцию человека, который всю жизнь был для поэта другом и почти старшим братом.

И, наконец, еще один пример осторожности Пушкина – его реакция на первое „Философическое письмо“ П.Я. Чаадаева. Опубликовано оно было в „Телескопе“ в октябре 1836 года, а до этого распространялось в самиздате. Пушкин, судя по всему, прочитал его в июне 1830-го. А *ответил*, несмотря на неоднократные напоминания друга-автора, *только через... шесть лет, когда отвечать было почти безопасно, так как оно уже было опубликовано*. Но и этот свой отзыв не отправил адресату, написав на последней странице: „Ворон ворону глаза не выклюет...“ дело, думается, не в вбронне, а в голосе „земной необходимости“, который подсказал: даже частичное согласие с Чаадаевым, выраженное в письме, встретит недовольство в высших сферах.

Что и говорить, сочетание в характере Германна расчетливости, осторожности, немецкого благоразумия и „сильных страстей и огненного воображения“ – это слепок натуры автора „Пиковой дамы“.

Добавим, что оба они – и персонаж, и его создатель – характеры неустойчивые, мятущиеся. Причем, амплитуды колебаний – огромны. У Германна, с одной стороны, – „Почему ж не попробовать своего счастья“, то есть, пойти на крайние меры, а с другой: „Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты...“ А Пушкин? Он всю жизнь метался между либе-

рализмом и сервилизмом, между домом братьев Тургеневых и прихожими вельмож, между „Героем“ и „Арионом“, между стремлением бежать за границу и страхом осуществить это намерение.

Желая того или нет, автор „Пиковой дамы“ отдал своему персонажу самое сокровенное: стремление к независимости, которая невозможна без упрочения финансового положения. Пушкин подчеркивает: все поступки Германна связаны с его стремлением к личной свободе. Характеризуя героя повести, автор пишет: „Германн был... твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость“.

Покой и воля, покой и независимость – сколько раз в различных модуляциях мысли об этом повторяются в письмах и произведениях поэта тех лет!

Стремление автора к независимости нашло отражение и в ответе графа Сэн-Жермена графине Анне Федотовне, будущей обладательнице тайны трех карт, попросившей *занять* ей необходимые деньги для оплаты долга чести: „Я могу вам услужить этой суммою, но знаю, что *вы не будете счастливы, пока со мной не расплатитесь*, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыгаться“. За подчеркнутыми нами словами видится натура самого Пушкина, понимавшего, что без обращения к правительству за финансовой помощью ему не обойтись, и в то же время продолжавшего метаться в поисках другого средства: возможности и деньги получить и избежать „новых хлопот“ – зависимости от кого бы то ни было.

И еще одно существенное наследие получил Германн от своего создателя – суеверие. „Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков“, – замечает о своем герое Пушкин. Слово „предрассудок“ употреблено здесь в значении суеверия, веры в приметы, о чем говорит и следующая, объяснительная фраза: „Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь...“

Вопрос о величине „истинной веры“ автора „Пиковой дамы“ до сих пор окончательно не выяснен. Вообще, на наш взгляд, термины „много“, „мало“ в данном случае не вполне корректны. Но если уж пользоваться ими, то вероятнее всего, у него, как и у Германна, было „мало истинной веры“. Широко известно письмо Пушкина из Одессы, которое послужило предлогом для

высылки его в Михайловское, о том, что он „берет уроки чистого афеизма“.

Но существует и свидетельство иного рода. Среди черновиков „Странствий Онегина“ сохранилась такая запись: „Не допускать существования Бога – значит быть еще более глупым, чем те народы, которые думают, что мир покоится на носороге“. (Пушкин. Письма, т. 1, с. 314). И все-таки, судя по воспоминаниям людей, близко знавших поэта (а еще более – по их умолчаниям), „истинной веры“ у Пушкина было, действительно, немного.

Что же до предрассудков, веры в приметы, гадания, боязни сглаза, короче говоря – суеверия, то они как раз сродни предрассудкам главного персонажа повести. Тот же суеверный страх, который гонит Германна на отпевание графини, понуждает Пушкина остерегаться попадающихся навстречу черных монахов, перебегающих дорогу зайцев, „месяца с левой стороны“ и других вестников несчастья. (См. к примеру письма к жене от 14 сентября 1833 года из Симбирска, 2 октября того же года из Болдина, 14 сентября 1835 года из Михайловского). К предрассудкам поэта относится и его вера в предсказания гадалки Кирхгоф.

Свои предрассудки Пушкин щедро раздавал персонажам своих произведений, вспомним хотя бы Татьяну Ларину. Имеется однако нечто весьма существенное, что отличает суеверие Пушкина от суеверия его любимой героини и, наоборот, сближает с предрассудками Германна.

Ф.М. Достоевский говорил, что в „Пиковой даме“ Пушкин „тонким анализом проследил... все движения Германна, все его мучения, все его надежды и, наконец, страшное, внезапное поражение. Федор Михайлович объясняет это могучей фантазией Пушкина. Думается, дело не только в фантазии. Автор „Пиковой дамы“ наделил своего героя *своей страстью игрока* – характером, образом мыслей, душевным состоянием банкмета.

Напомним эпиграф, которым открывается повесть:

А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – Бог их прости! –
От пятидесяти
На сто.

И выигрывали,
И отписывали
Мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.

Кто это „они“? Ответ напрашивается сам собой: Нарумов, Сурин, Томский... Но в черновом варианте Пушкин указал на источник эпиграфа: „Рукописная баллада“. Да, в то время рукописная, не опубликованная. История ее такова. В сентябре 1828 года П.А. Вяземский, прослышав, что поэт в Москве ведет большую карточную игру, с беспокойством писал ему: „...несется один гул, что ты играешь не на живот, а на смерть...“ (Пушкин. Письма, т. 2, с. 301).

Подтверждая гул, Пушкин не только приводит свою балладу, но и указывает на ее автобиографичность: „...пока Киселев и Полторацкие были здесь, я продолжал образ жизни, воспетый мною таким образом:

А в ненастные дни собирались они
часто...

и так далее (только вместо вымученного „Бог их прости“ – первозданное, сочное „мать их ети“).

Таким образом, „они“ – компания игроков, собравшаяся у конногвардейца Нарумова, – это и „мы“ – Пушкин, Киселев, Полторацкие. Сохранившиеся немногочисленные черновые наброски „Пиковой дамы“ тоже указывают на то, что в повести отразился определенный период жизни самого автора. Приведем варианты начала произведения:

„Года 4 тому назад собиралось нас в П(етер)Бурге несколько молодых людей, связанных между собою обстоятельствами. Мы вели жизнь довольно беспорядочную. Обедали у Андрие без аппетита, пили без веселости, ездили к С(офье) А(стафьевне) побесить бедную старушку притворной разборчивостью. День убивали кое-как, а вечером по очереди собирались друг у друга“. Трудно согласиться с мнением С. Шварцбанда, высказанном в его интересной, во многом новаторской работе, будто этот черновой набросок не имеет прямого отношения к „Пиковой даме“

и „должен быть признан оригинальным и самостоятельным...“ (С. Шварцбанд. Логика художественного поиска А.С. Пушкина, Магнес пресс, Еврейский университет, Иерусалим, с. 11). Связь наброска „Года 4 тому назад...“ с „Пиковой дамой“ представляется нам очевидной, и мы будем комментировать его именно с этих позиций.

Повествование начиналось от первого лица: „собиралось нас“, „жил я...“, „вел я жизнь...“, „Мы вели жизнь...“ Да и сам образ жизни этого „я“ логически продолжает описание жизни поэта, данное им в цитированном выше письме Вяземскому. Если точкой отсчета взять 1833 год – наиболее вероятное время создания повести, то ее действие следует отнести к 1828-1829 годам. В этот период Пушкин вел жизнь „довольно беспорядочную“, обедал у Андрие – реального ресторатора в Петербурге, ездил к реальной Софье Астафьевне – содержательнице „заведения“, чтобы, как вспоминает современник, „провести остаток ночи с ее компаньонками“, сражался за карточным столом „не на живот, а на смерть“. На последнем обстоятельстве остановимся особо.

Именно к 1829 году относится полицейский список картежников, в котором значатся 93 фамилии: „1. Граф Федор Толстой – тонкий игрок и пианист. 22. Нащокин – отставной гвардии офицер. Игрок и буян... 36. Пушкин – известный в Москве банкомет“. (П.А. Ефремов. Соч. Пушкина, 1903, т. VII, с. 677). Даже обидно за Пушкина. У других упоминаются титул, чин, им даются какие-то, пусть нелестные определения: „пианист“, „буян“, а о великом поэте однозначно: „известный банкомет“. Кроме первого и двадцать второго номеров в списке есть и другие приятели-картежники, причем, как и писал автор в черновом наброске к „Пиковой даме“, среди них было большинство „молодых людей недавно сближенных между собой“, и круг их не ограничивался Москвой.

Карты поглощали Пушкина целиком, он был азартен до самозабвения, искал в игре сильных ощущений, проводил за зеленым столом целые сутки, проигрывал, особенно после возвращения из ссылки, крупные суммы. Об этом говорят как письма Пушкина различным лицам, так и воспоминания близких ему людей. Приведем одно: „...Иногда заставлял я его за другим столиком – карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя... Жалко было

смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью!" (К.А. Полевой. Из „Записок“.)

В порыве этой страсти поэт бросал на кон и свои произведения. Еще в 1820 году, незадолго до вынужденного отъезда на юг, он проиграл Никите Всеволожскому рукопись своих стихотворений, оценив их в тысячу рублей. Сам Пушкин называл это полу-продажей и полу-проигрышем. В сентябре 1833 года он писал брату из Кишинева: „Явись от меня к Никите Всеволожскому – и скажи ему, чтоб он ради Христа погодил продавать мои стихотворения до будущего года. – Если же они проданы, явись с той же просьбой к покупщику“.

В 1828 году И.Е. Великопольский напомнил поэту о том, что тот проиграл ему вторую главу из „Евгения Онегина“:

...глава „Онегина“ вторая
Съезжала скромно на тузе...

Обидевшись на это напоминание, Пушкин писал Великопольскому: „Я не проигрывал 2-й главы, а ее экземплярами заплатил свой долг“. И пригрозил ответить „неприятными строфами“ в восьмой главе „Онегина“.

Та же участь постигла и четвертую главу романа. В декабре 1826 года Пушкин сокрушался в письме к Вяземскому: „Во Пскове вместо того, чтоб писать 7-ю гл. Онегина, я проигрываю в шtos четвертую: не забавно“. Съезжала и пятая глава романа, но была тут же отыграна.

Любопытное объяснение причины „самовольной отлучки“ поэта – поездки на Кавказ – дает фон Фок: „... можно сильно утверждать, что это путешествие устроено игроками, у коих он в тисках. Ему, верно, обещают золотые горы на Кавказе, а когда увидят деньги или поэму, то выиграют – и конец“. (М. Лемке. Николаевские жандармы и литература. 1826-1855 гг. СПб, 1909, с. 493). Мысль о том, что поездка на Кавказ была устроена игроками, высказывали и другие современники. Обратим внимание: „деньги или поэму“ – то, что Пушкин играет на свои произведения, было общеизвестно. Вероятно, Н.О. Лернер не преувеличивал, когда утверждал, что рукописи поэта „бойко котировались на игровой бирже“.

Это явно о себе говорит автор „Онегина“ в варианте XVII строфы второй главы романа (той самой, которая потом „съезжала“ в карточной игре):

...Что до меня – то мне на страсть
Досталась пламенная страсть,
Страсть к банку! ни дары свободы,
Ни Фёб, ни слава, ни пиры
Не отвлекли б в минувши годы
Меня от карточной игры;
Задумчивый, всю ночь, до света,
Бывал готов я в прѣжни лета
Допрашивать судьбы завет:
Налево ляжет ли валет...

Хотя Пушкин и говорит о своей страсти в прошедшем времени, она не покидала его всю жизнь, ничуть не уступая „науке страсти нежной“, а порой и брала над ней верх. Замечание автора повести о том, что молодежь хлынула в дом Чекалинского, „забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства“, во многом автобиографично. П.А. Вяземский вспоминал: „...Пушкин, во время пребывания своего в Южной России, куда-то ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою“.

О Германне и говорить нечего: любовь не только отдается в жертву карточной страсти, но и становится ее инструментом.

Распространено мнение, будто карточную страсть можно разъять на две, чуть ли не полярные категории: страсть игрока и страсть наживы. Согласно этой градации, к обладателям первой обычно относят людей уважаемых, выдающихся. Ко второй – всех остальных. Это весьма напоминает стремление называть великих „жизнелюбами“, а обыкновенных смертных – „бабниками“, а то и похлеще. Не будем лукавить: обе страсти существуют в неразрывном единстве.

Стремление затушевать меркантильную сторону ощущается в жизнеописании не только Пушкина, но и Некрасова, и Достоевского. Классический тому пример – рассказ А.Ф. Кони о побудительных мотивах карточной страсти редактора „Современника“ и „Отечественных записок“. „Он, – вспоминает Анатолий Федорович, – раскрыл передо мною болезненную психологию человека, одержимого страстью к игре, непреодолимо влеку-

щю его на эту рискованную борьбу между счастьем и опытом, увлечением и выдержкой, запальчивостью и хладнокровием, где главную роль играет не выигрыш, не приобретение, а сознание своего превосходства и упоение победы“.

Однако детальный анализ этого свидетельства оборачивается как раз против основного тезиса: о цели карточной игры. Обратимся к обстоятельствам исповеди Некрасова. За несколько дней до этого прокурор Петербургского окружного суда А.Ф. Кони возбудил дело против содержателя игорного дома, который завлекал в него молодежь и обыгрывал, „причем выигрышу велась правильная бухгалтерская запись“. После того, как на эти деньги был наложен арест, по городу разнесся слух, что прокурор намерен предложить суду отобрать деньги у всех, кто в различных клубах выигрывал крупные суммы. Далее вновь процитируем А.Ф. Кони: „Встревоженный Некрасов, сознававший, что *такая мера могла бы губительно отразиться на средствах для издания «Отечественных записок»*, как-то рано утром пришел ко мне и просил откровенно сказать, грозит ли ему такая опасность“. (Выделено нами. – В.С. Там же, с. 149).

Почему так встревожился? Что это за визиты с раннего утра? Некрасов вел большую игру и тоже выигрывал крупные суммы. Вот и поспешил заверить прокурора в том, что у него „главную роль играет не выигрыш, не приобретение“, а нечто, лежащее совсем в иной, неподсудной сфере. Никто судить Некрасова, накладывая арест на его банковские счета и не собирался, его поведение ни под какие уголовные постановления не подпадало, просто у страха глаза оказались велики, что и объяснил ему приятель-прокурор. Но нам важна выделенная нами фраза в свидетельстве Кони: играл Некрасов не только и не столько ради упоения победы, но ради денег, которые необходимы были для издательской деятельности – известно, что приходилось тратиться не только на гонорары, типографии, но и солидно подкармливать цензоров. И себя Некрасов не забывал. Отбросим слухи о его „нечистой игре“ – они сопутствуют любому удачливому игроку. Просто Некрасов был хорошим игроком. А Пушкин – плохим. У Некрасова верх брала выдержка, у Пушкина – увлечение, у Некрасова – столь необходимое в игре хладнокровие, у Пушкина – запальчивость, у Некрасова – опыт, у Пушкина – надежда на „а вдруг“, Некрасов знал, с кем можно садиться играть, а с кем нельзя, Пушкин не делал различия и

часто оказывался в компании шулеров. Но оба играли ради денег.

Финансовое положение Пушкина в тридцатые годы было не просто неприглядным, оно становилось катастрофическим. Еще в конце 1829 года поэт писал И.А. Яковлеву: „...я проиграл уже около 20 т.“. Письмо заканчивается словами: „В конце мая и в начале июня денег у меня будет кучка, но покамест я на мели и карабкаюсь“.

Блажен, кто верует! К маю 1830 года поэт не только не рассчитался с карточными долгами, но прибавил к ним огромный проигрыш – 24 800 рублей – В.С.Огонь-Догановскому и Л.И. Жемчужникову. В сохранившемся черновом наброске письма к Огонь-Догановскому тяжкое признание: „... Я никак не в состоянии, по причине дурных оборотов, заплатить вдруг 25 тысяч...“ Он мучительно ищет возможность выплатить хоть часть этой суммы. М.П. Погодин вспоминал, что в 1830 году Пушкин „проигрался в Москве, и ему понадобились деньги. Он обратился ко мне, но у меня их не было, и я обещался ему перехватить у кого-нибудь из знакомых, начиная с Надеждина“.

Приведем несколько коротких как, "SOS", писем Пушкина Погодину, датированных концом мая – началом июня 1830 года: „Выручите, если возможно – а я за вас буду Бога молить с женой и малыми детушками...“

„Могу ли к Вам заехать и когда? и будут ли деньги? У Бога, конечно, всего много, но он займы не дает, а дарит кому захочет, так я более на Вас надеюсь, чем на него (прости, Господи, мое прегрешение)“.

„Как вы думаете, есть надежда на Надеждина или Надоумко („Никодим Надоумко“ – псевдоним Надеждина. – В.С.) недоумевают?“

„Надеждин хоть изрядно нас *тешиат* иногда (тесать) или *чешиет* etc., но лучше было бы, если он теперь потешил. – Две тысячи лучше одной, суббота лучше понедельника etc.“

„Если уже часть, так большую, ради Бога“. (Там же, с. 92, 94).

Обратим внимание: Пушкин не гнушается даже помощью Надеждина, человека, которого за несколько месяцев до этого называл „болваном“, чью критику именовал „глупой“, а прозу – „лакейской“.

С миру по нитке...

Думается, Болдинская осень 1830 года оказалась столь „дето-

родна“ еще и потому, что нахлынувшее свыше вдохновение подкреплялось мотивом самым что ни на есть земным – необходимостью наработать как можно больше „всячины, и прозы и стихов“, чтобы хоть в какой-то степени очиститься перед женитьбой от долгов. Не случайно в самый разгар поэтического пиршества пишет М.П. Погодину: „...А главного-то не сказал: срок моему долгу в следующем месяце...“

Помочь другу взялся П.В. Нащокин, которому поэт писал в июне 1831 года: „... теперь поговорим о своем горе. Напиши ко мне, к какому времени явиться мне в Москву за деньгами, да у вас ли Догановский? если у вас, так постарайся с ним поговорить, т.е. поторговаться...“

Ему же два письма в июле по поводу своего „горя“: „...с Догановским не худо, брат, нам пуститься в разговоры или переговоры – ибо срок моему первому векселю приближается“. „...ожидает ли ты своих денег и выручишь ли ты меня из сетей Догановского?“

В сентябре: „...жду с трепетом сердца решения Догановского...“

Большую часть долга Нащокин погасил. Остальное выплатила Опека после смерти поэта.

Этому проигрышу Пушкина мы уделили много внимания не только потому, что он был самым крупным, во всяком случае, из известных.

Выскажем предположение, что В.С. Огонь-Догановский, едва не пустивший поэта по миру, и его московский дом были образами Чекалинского и его дома в „Пиковой даме“. Напомним:

„В Москве составилось общество богатых игроков под председательством славного Чекалинского, прошедшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург... Нарумов привез к нему Германна.

...В гостиной за длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности... лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдаш-

нею улыбкою. Нарумов представил Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать“.

Выделим главное: *Чекалинский – профессиональный игрок и профессиональный содержатель игорного дома*. Именно таким был и Василий Семёнович Огонь-Догановский, родовитый дворянин, богатый помещик, сделавший карточную игру своей профессией. Как и Чекалинскому, ко времени создания „Пиковой дамы“ ему было около шестидесяти (родился в 1776 году). Верное представление о нём даёт жандармская записка „О карточной игре“, датированная январем 1830 года:

„Банковская в карты игра в Москве не переставала никогда; но в настоящее время, кажется, ещё усилилась (...) Между многими домами, составившими для сего промысла партии, дом Догановского есть особенное прибежище игрокам. Сказывают, что игорные дни назначены и сам хозяин мечет Банк, быв с другими в компании“. (Б.Л. Модзалевский. „Пушкин под тайным надзором“, Л., 1925, с. 95).

Дом Догановского находился на Большой Дмитровке, он сохранился и поныне. Пушкин называет своего героя, содержателя игорного заведения, „славным“ с едва заметной иронией. Всю свою жизнь он провёл за картами, сделав игру своей профессией. С семьёй Догановских были близко знакомы известный хирург Н.И. Пирогов, поэт Баратынский и другие.

Как и Чекалинский, Догановский был очень богат, выигрши свои чаще всего брал векселями. Во всяком случае в цитированном выше письме Пушкина Догановскому речь идет о выданном ему векселе.

Германна хозяину дома представил Нарумов. Мы не знаем, кто представил Догановскому Пушкина, но, думается, все в тот весенний день тридцатого года было так, как в повести: и игроки за столом, и метавший банк хозяин, приветствовавший поэта „всегдашнюю“ улыбкой, и дружеское пожатие руки, и просьба „не церемониться“. Все это – элементарные атрибуты профессии.

Действие в повести Пушкина разворачивается в Петербурге, а Догановский – москвич. Но писатель волен по своему усмотрению распоряжаться биографией прототипа. В данном же случае автор счёл необходимым указать: главная квартира Чекалинского – в Москве, в столицу он только „приехал“. (Пушкина даже

не смутила неопределенность этого слова: переехал? гастролировал?)

Нам могут напомнить: молва приписывала Огонь-Догоновскому нечистую игру, как тогда выражались, игру „наверняка“. Прямой намек на это имеется и в приведенной выше жандармской записке: „...мечет Банк быв с другими в компании“. Но если бы автор „Пиковой дамы“ и знал об этом, что маловероятно, то, конечно, не наделил бы этим качеством Чекалинского, так как рухнул бы весь сюжет повести: банкомет оказался шулером, передернул карту и вместо туза выбросил пиковую даму?

Но вернемся к сидящему „на мели“ перед женитьбой Пушкину. Все дальнейшие годы он искал способ „выкарабкаться“, рассчитаться с долгами. Тут и попытка издавать газету, журнал, залого и перезалоги, надежды на „Годунова“ и „Пугачева“, даже на статую Екатерины II, собственность Гончаровых, за которую мечтал получить 25 тысяч. И, как и Германн, – на карточное счастье, случай, который сразу позволит снять с мели финансовый корабль. Но чем больше играет, тем больше погрязает в долгах. Весной 1835 года, он (через Бенкендорфа) бьет челом Николаю I о 100 000 рублей, чтобы „уплатить все... долги и иметь возможность жить, устроить дела моей семьи и, наконец, без помех и хлопот предаться моим историческим работам...“

За год до этого поэт обращался к царю с просьбой выдать ему 15 тысяч рублей в качестве ссуды для печатания „Пугачева“. Николай распорядился выдать на пять тысяч больше „на два года без процентов и вычета в пользу вечных“. Причем, приказал печатать „Пугачева“ за казенный счет. Деньги Пушкин частью тут же проиграл, частью истратил на погашение самых горящих долгов. (Ни Яковлеву, ни Нащокину долгов он не вернул; как это обычно бывает, в накладе остаются самые близкие друзья. Шесть тысяч Яковлеву выплатила Опека уже после смерти должника).

Хотя забота императора ставила Пушкина в зависимое положение, другого выхода не было, и в 35-м году он вновь обращается за помощью к Николаю I (см. приведенное выше черновое письмо Бенкендорфу). Правда, поняв, что ста тысяч не получить, ограничивается в окончательной редакции письма тридцатью. Пишет вполне откровенно: „... Из 60 000 моих долгов половина – долги чести“ (Там же, с. 103).

Этот шестидесятитысячный долг давно уже не давал покоя поэту. Не поэтому ли в вариантах „Пиковой дамы“ автор машинально оставлял в наследство Германну именно эту сумму? Вместо окончательного: „Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал“, было: „60 тыс. капиталу“ и „60 тысяч, которые...“

Просьба Пушкина и на этот раз была удовлетворена.

Кого только не винят в тяжелом материальном положении великого поэта! И царя с Бенкендорфом, которые-де не отпускали его в деревню, где он мог спокойно сочинять, зарабатывая столько денег, сколько было необходимо для содержания семьи; и ничтожные литературные гонорары; и цензуру... Но император не только щедро одаривал Пушкина фактически безвозмездными ссудами, он назначил ему пятитысячное жалование (Жуковский получал четыре, а Карамзин две тысячи). Причем, службы, как таковой, не было. „...царь дал мне жалование, – сообщал поэт П.А. Плетневу, – открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал... Он сказал: (Раз он женат и небогат, надо дать ему средства к жизни (буквально: заправить его кастрюлю)“. (Слова в скобках – перевод с фр.) По распоряжению Николая после гибели Пушкина казна оплатила 138 488 рублей долгов поэта, из которых 94 988 рублей составляли долги частные, в том числе и карточные. А если учесть пенсии жене и детям, освобождение от долгов имения отца, то забота о Пушкине обошлась казне в полмиллиона рублей – сумма огромная! Как ни неприятно об этом говорить, но прав был М.А. Корф, писавший о своем лицейском сокурснике: „...беспутная жизнь держала его во всегдашних долгах, которые платил за него государь...“

Что касается гонораров, то Пушкин получал за свои произведения гораздо больше, чем кто-либо другой.

Обвинения в адрес цензуры тоже несостоятельны: урон, наносимый ею Пушкину, был незначителен.

Виноват в своем безденежье, в огромных долгах был сам поэт, его образ жизни, в первую голову – карточная страсть, в порыве которой он спускал не только свои произведения, но и серебро Соболевского, и фамильные драгоценности жены. Если Достоевский нашел в себе силы побороть губительную страсть, то Пушкин умер игроком. Скрывал от жены свои проигрыши, каялся, обещал бросить карты, снова обманывал и снова каялся. Причем, как всякий, не привыкший лгать, обманывает неумело, не думая

о том, что ложь может очень просто открыться. Так, в письме Наталье Николаевне 8 июня 1834 года пишет: „Денег тебе еще не посылаю. Принужден был снарядить в дорогу своих родителей“. Хотя никаких денег родителям не давал, а просто-напросто проиграл их, в чем признается то глухо, намеком, в том же письме: „Для развлечения вздумал было в клубе играть, но принужден был остановиться“, то откровенно признается в обмане: „...Я перед тобою кругом виноват... Были деньги... проиграл их...“

О том, что поэт рассчитывал при помощи карт, одним махом, по-германновски решить все свои финансовые проблемы, сообщает хорошо знакомый с обстоятельствами последних лет жизни Пушкина В.А. Соллогуб: „Светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставало средств. *Эти средства он хотел пополнить игрою* (выделено нами. – В.С.), но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше“.

Сознание бессилия победить страсть и того, что он все глубже погружается в пучину долгов, ставит под угрозу будущее жены и детей, отравляло существование поэта, делало его раздражительным, подозрительным, равнодушным к жизни и, в конце концов, сыграло немалую роль в его гибели. „Погиб поэт, невольник чести...“ Не только той, о которой принято думать, произносятся эти слова, но и невольник карточной страсти, невольник долгов чести. Таким образом, в „Пиковой даме“ Пушкин как бы предсказал свою гибель: оба они – и персонаж, и автор – жертвы пагубного влечения.

Возвращаясь в 1829 году с Кавказа, Пушкин взял с собой в коляску В.А. Дурова, брата „кавалерист-девицы“. Как утверждает поэт, его спутник „помешан был на одном пункте: ему непременно хотелось иметь сто тысяч рублей“. Чтобы достать их, Дуров придумал „100 000 способов“. Обратим внимание на два, которые подсказал спутнику Пушкин. „Однажды сказал я ему, что на его месте, если уж сто тысяч были необходимы для моего спокойствия, то я бы их украл. „Я об этом думал“, – отвечал мне Дуров. – Ну, что же? – „Мудрено; не у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а зарезать или обокрасть человека за безделицу не хочу: у меня есть совесть“.

Через несколько лет сто тысяч станут мечтой самого Пушкина. „Ох! кабы у меня было 100 000!... – вырывается у него в письме

к жене. – Да Пуг(ачев), мой оброчный мужичок, и половины того мне не принесет. Да и то мы с тобою как раз промотаем; не так ли?“

Все так: мотала не только Наталья Николаевна, как обычно принято считать, но и сам поэт, во всяком случае „оброчный мужичок“ едва смог оплатить карточные проигрыши.

Оставалось воспользоваться другой рекомендацией, данной Дурову: обратиться за деньгами к императору, что, как уже отмечалось выше, поэт делал неоднократно и небезуспешно.

Относительно совета разбогатеть путем преступления, то его осуществление он поручил Германну.

Показательна реакция слушателей рассказа Томского на его слова: „Тут он (Сен-Жермен) открыл ей тайну, за которую всякий из нас *дорого бы дал...*“ (Выделено нами. – В.С.).

„Дорого“ – это ведь не только о деньгах. Речь идет и о том рубеже этических норм и даже уголовных постановлений, через которые перешагнули бы игроки ради обладания тайной трех карт. Германн решился на крайнюю меру. А ведь до этого у него были планы ограничиться ценой нравственного падения: „подбиться в милость“ старухи, „пожалуй, сделаться ее любовником“.

А какую бы цену дали другие? – ведь никого из собравшихся слова Томского не возмутили, никто не возразил. Наоборот: „Молодые игроки удвоили внимание“, вероятнее всего, каждый „прокручивал“ пределы своего „дорого“. И Нарумов не из праздного любопытства нанес визит графине, добивался приглашения к ней на бал.

Напомним, что все события первой главы „Пиковой дамы“ развиваются под шапкой эпитафии, в котором „собирались они“ – это и собирались Мы: Киселев, Полторацкий, Пушкин.

Неужели и Пушкин „прокручивал“?! На этот возмущенный вопрос мы отвечаем положительно.

Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна –

напоминал автор „Евгения Онегина“. Он – гениальный поэт, но он и *игрок*, с той самой психологией, которая присуща всем другим людям этой породы. А она такова, что, если секрет Сен-Жермена оценить, предположим, в миллион рублей, то ради *этих денег* игрок (если он, конечно, не уголовник) не пойдет на преступление. Иное дело – знание секрета трех карт.

Тут вступает в силу вторая сторона карточной страсти, та самая, о которой Некрасов поведал А.Ф. Кони: „сознание своего превосходства и упоение победы“.

Оригинальный урок психологии игрока преподавал Толстой-Американец. Сохранился список „Горя от ума“, в котором он исправил слова „и крепко на руку нечист“ на „В картишки на руку нечист“, сопроводив свою правку таким примечанием: „...чтоб не подумали, что ворует табакерки со стола“ (С.Л. Толстой. Федор Толстой-Американец, М., ГАХН, 1926, с. 83).

Воровать – преступно, за такое обвинение обычно приглашают к барьеру; иное дело – перевернуть карту, быть „нечистым“ в игре. Отметим, что репутация Ф. Толстого, как „картежного вора“, не помешала Пушкину коротко сойтись с ним, принять в круг своих друзей.

Предвидим вопрос: а где же, в таком случае, рубеж самого автора „Пиковой дамы“? Остановился бы перед преступлением? Стал бы любовником восьмидесятилетней старухи? Определенный ответ дать не беремся. А если неопределенный, то напомним полицейский список картежников: из девяносто трех имен поэт значится под номером 36. Вот в этом диапазоне, вероятно, и скрыт ответ.

Уместно напомнить, что в богатой практике „страсти нежной“ Пушкин не ставил возрастного ценза, отдавая должное не только молодости, но и опыту. А часто предпочитал последнее. Среди занесенных им в так называемый Дон-Жуанский список Евдокия Голицына на 19 лет старше поэта, Екатерина Семенова – на 13, Аглая Давыдова – на 12, Елизавета Воронцова – на 8. Прасковья Осипова (ее имя в этом перечне не значится) в год рождения Пушкина вышла замуж.

В связи с расположением Пушкина к женщинам, скажем так, – забальзаковского возраста, – резонно высказать сомнение по поводу имени „блистательной дамы“ из рассказа Нащокина Бартенева. Да, Пушкин действительно мог совершать тайные прогулки в дом австрийского посланника, но целью их были не покои Долли Финкельмон, а ее мамыши – Елизаветы Михайловны Хитрово, переселившейся к дочери и зятю в 1831 году и занимавшей там отдельный, вероятно, изолированный, покой. Характер отношений Пушкина и Елизаветы Михайловны – а была она „всего“ на шестнадцать лет старше поэта – таков, что дает основание предположить: составляй свой Дон-Жуанский список

Пушкин несколькими годами позже, в нем бы обязательно оказалась и „Елизавета I“. По воспоминаниям современников, она питала к поэту „самую нежную, страстную дружбу“, „языческую любовь“, была близким его другом. Вероятнее всего то, что французы не без иронии называют „Amitié amoureuse“ (дружеская любовь), прошла через все обычные стадии, которые, в конце концов, превращают женщину из любовницы в друга. Чувствуется, что со стороны Елизаветы Михайловны процесс этот был довольно болезненным и затяжным – экзальтированное состояние стареющей женщины вполне объяснимо. Пушкину, естественно, ее назойливость доставляла некоторое неудобство, но он никогда не позволял себе огорчить ее недобрым словом. Так что вполне возможно, что *Германн шел к «своей» старухе именно тем путем, которым Пушкин шел к своей*. Подмена же матери дочерью – плод воображения либо самого Пушкина, либо Нащокина, пожелавшего, с одной стороны, придать этой истории больше драматизма и романтики, а с другой, – представить своего друга в более выгодном свете. Не исключено, конечно, и то, что поэт не обошел своим вниманием и дочь, и ее матушку, как и то, что Павел Воинович сочинил „новеллу“ именно под влиянием „Пиковой дамы“ – подобные инверсии мемуаристы допускают довольно часто.

Пушкин-игрок неоднократно ставил себя на грань того, что среди „нормальных“ людей слывет безнравственностью. А.И. Герцен рассказывает (со слов С.Д. Полторацкого), что однажды, в угаре карточного азарта, поэт едва не согласился поставить на кон письма к нему Рылеева, оценив их в тысячу рублей, но все-таки „опомнился, воскликнув: „Какая гадость! Проиграть письма Рылеева в банк!..“ („Полярная Звезда“, с. 33.)

Как видим, сам понимал: гадость! Нам остается только рассудить, что гаже: „подбиться в милость“, „сделаться любовником“, альфонсом, или проиграть в карты письма Рылеева.

Таким образом, создавая Германна, автор „Пиковой дамы“ гораздо чаще и основательнее пользовался „библейской привычкой Бога“*, чем это принято считать.

* Выражение А.И. Герцена, утверждавшего, что Тургенев создал Рудина по своему образу и подобию.

Да, Пушкин передал персонажу не лучшие частички своего „я“. Однако, не следует ни возмущаться, ни – тем более – вступаться за великого. Он не нуждается в заступничестве, потому что писатель – такая уж у него профессия – исследователь своей жизни, постоянно занимающийся „анатомированием в собственной душе и как раз в тех местах ее, где это ковырянье отзывается всего сильнее“ (Ибсен).

Владимир Свирский – историк литературы, живет в Израиле.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Трепет забот иудейских.

Изд. второе, исправленное. 207 стр.

Художественно-философская проза, запечатлевшая опыт духовной биографии еврейского интеллигента из России, его размышления об особенностях еврейского национального характера, о связи и противостоянии русской и еврейской истории, о судьбах русского еврейства.

СТРАНИЦЫ БЫЛОГО

Валерий Смоленский

«ОРДЕН ЛЕНИНА НА ГРУДИ ИОАХИМА РИББЕНТРОПА...»

Обращение к творчеству Виктора Чернова (см. „22“ № 93) открывает новые черты этой незаурядной личности. Он предстает перед читателем мастером политического анализа, политологом, способным предвидеть ход развития событий его времени на европейской и мировой международной арене.

В представляемой вниманию читателя статье*, написанной сразу же по следам советско-германского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, Чернов сумел предсказать неизбежность существования тайных статей договора, значительно позже получивших условное название „Пакта Молотова-Риббентропа“. Он даже сумел почти точно угадать линию раздела сфер влияния между СССР и Германией, предусмотренной этим „пактом“.

Германо-советский „Договор о взаимном ненападении“, который советские историография и средства массовой информации почти столетия называли „образцом миролюбивого дипломатического искусства“, старый русский социалист-революционер назвал уже в 1939 году „классическим образцом двуличности“, „настоящей ПРОВОКАЦИЕЙ“. Чернов публично обвинил Сталина в том, что он „своим азиатско-коварным маневром спустил с цепи чудовище мировой войны“, и указал будущим жертвам мировой трагедии: „Знайте, кому вы будете обязаны собственной гибелью, гибелью ваших близких...“

И еще об одном интереснейшем факте. Пять десятков лет бывшим советским людям морочили голову сказкой, что договор

* Архив „Махон Лавон“, Тель-Авив.

с Германией был со стороны Кремля вынужденным, ибо Британия и Франция искусно срывали все попытки создать антифашистский блок, и что военные миссии Запада летом 1939 года, самочинно прервав переговоры, покинули красную столицу.

Архивные документы, выплывшие из фондов „спецхранения“ после развала „империи зла“, доказали лживость такого утверждения, а статья Виктора Чернова, хранящаяся в израильских архивах, наглядно указывает, что ее проницательный автор еще пятьдесят пять лет назад рассказал правду об этом эпизоде: „...упаковка чемоданов военными миссиями Запада последовала вовсе не по собственной их инициативе, а по приглашению маршала Ворошилова, огорчившего их сообщением, что дальнейшие общие работы беспредметны, ибо мирные цели Советского Союза уже обеспечены другими путями“...

А теперь обратимся к тексту Чернова многолетней давности, способному и ныне удивлять своими открытиями и догадками.

„Или коммунизм или фашизм; только „последний и решительный“ бой между этими двумя подлинно противоположными силами решит судьбу человечества; третьего не дано, демократия не в счет, – она может только топтаться под ногами у борцов двух лагерей“. Так нам твердили уже десять лет, – и немало людей доброй воли, но слабых, неустойчивых, лишенных внутреннего равновесия, давали себя загипнотизировать фанатичной настойчивостью этой проповеди.

И вот пробил час ее решительной проверки. Итало-германский фашиорасизм, раздвинув грубой силой свои границы за счет проглоченных им Австрии, Чехословакии, Абиссинии и Албании, переполнив чашу мирового терпения, занес руку на независимость Польши, в течение столь долгого времени пытавшейся обезоружить его своим добрососедским дружелюбием.

Этого ему оказалось мало; он исповедует формулу „кто не с нами, тот против нас“ и предлагал Польше союз для войны против России и для будущего раздела советской Украины. Польша не решилась вступить на путь столь рискованных авантур, и тогда германский фашизм (ему все равно, с кем и кого надо делить) поставил на очередь вопрос о разделе Польши между Германией и Советским Союзом. План прост: Германия возвращается к восточным границам 1916 года; Советский Союз получает территорию белорусского и украинского характера, осталь-

ная территория становится на автономных началах объектом совместного германо-советского протектората.

Какое именно состоялось соглашение об общем плане действий на почве германских предложений, узнаем скоро на деле. Одно ясно. Как раз в тот самый момент, когда Гитлер всеми силами души порывается сделать новый и решающий шаг к установлению своей гегемонии на европейском континенте, подчинив себе или ликвидировав Польшу, как раз в тот момент, когда он должен был остановиться, парализованный фантомом возникающего англо-франко-советского союза, – как раз в этот решающий трагический момент неожиданный вольт-фас Сталина и заключение германо-советского договора развязало для Гитлера гордиев узел. Он получил полную свободу рук на востоке, он получил крупный шанс раздавить Польшу раньше, чем западные союзники и покровители смогут оказать ей помощь в достаточно реальной и осязательной форме. И – жребий был брошен.

Конечно, основным виновником мировой войны, виновником ее в последнем счете явится Гитлер. Но специальным и вспомогательным виновником ее для данного момента является – и как неожиданно для многих! – в полной мере Сталин. Без такого специального подарка, как пакт о взаимном ненападении с Советским Союзом, Гитлер никогда не решился бы на прямое вторжение в Польшу, на этот резкий и бесповоротный вызов союзному с Польшей англо-французскому блоку. Он не решился бы на этот переход через Рубикон, отделявший человечество от новой кровавой мировой бойни.

Да, именно Сталин, именно этим своим азиатско-коварным маневром спустил с цепи чудовище мировой войны. Гитлер и Сталин оказались двумя самыми роковыми фигурами для человечества. Будущие бесчисленные жертвы повторной мировой трагедии! Знайте, кому вы будете обязаны собственной гибелью, гибелью ваших близких, вплоть до женщин и детей, гибелью множества приобретений человеческой культуры!

Какое невероятное, переходящее границы человеческого воображения зрелище! Фон-Риббентроп, с почетом встречаемый в Москве; водружение в его честь рядом с советским красным флагом на московском аэродроме знамени со свастикой; посещение Риббентропом в сопровождении Молотова ленинского мавзолея и его римское приветствие праху красного вождя;

орден Ленина на груди германского дипломата в почетном соседстве совсем иных орденов...

Один вопрос: заглянуть бы сейчас, все ли по-старому в пышном мавзолее, не перевернулись ли кости Ленина, не уткнулся ли он лицом в гроб, спиной к фашистскому приветствию Риббентропа, спиной к сопровождавшему его Молотову, спиной ко всем этим эпигонам, спиной к постылому, хотя и „советскому“ по названию своему, внешнему миру?

Бедная иссохшая ленинская мумия! Лучше бы тебе не быть на свете. Ты лежишь символом того, что осталось от когда-то полнокровного и боевого большевизма. „Все это когда-то уже было“... Вспомните „Илиаду“: "Quantum mytatos ab illo Nestore!"

Вместо блестящего, в латах и доспехах мировой революции Гектора русского большевизма, – какое зрелище перед нашими глазами? Бездыханный труп красного октября, влачимый в грязи и пыли за колесницей фашистского Ахилла!

Германо-советское соглашение готовилось в такой тайне, что для всего остального мира было как бы ударом грома с ясного неба. Даже всезнающий, вездесущий и всеведущий Intelligence Service не успел вовремя ничего о нем проведать. Это не слишком удивительно: в тоталитарных державах сколь угодно широкие общественные круги до такой степени отстранены от влияния на ход дел, власть в них сосредоточена в столь узком кругу лиц, что для подсчета их нередко хватает пяти пальцев одной руки. Даже заграничные коммунистические партии, верные филиалы Москвы, были застигнуты врасплох, и сразу же стало видно, что в их рядах царит паника. Французская коммунистическая пресса – "L'Humanite", "Ce soir" и более мелкие их подголоски, заметались между двумя версиями. Версия первая: ничего не случилось, по почину Советского Союза умиротворение Европы началось с Востока. Надо, чтобы оно перекинулось и на Запад, для этого важно, чтобы военные миссии Лондона и Парижа, отбросив всякие обиды и раздражения, оставались в Москве и заканчивали выработку общего технического военного соглашения: оно и Гитлера сделает уступчивым.

Из самого факта появления этой версии ясно, что Москва даже не позаботилась осведомить свой французский филиал о том, что упаковка чемоданов военными миссиями Запада последовала вовсе не по собственной их инициативе, а по приглаше-

нию маршала Ворошилова, огорошившего их сообщением, что дальнейшие общие работы беспредметны, ибо мирные цели Советского Союза уже обеспечены другими путями...

По сведениям французской прессы ("Matsch" от 31 августа), начало переговоров относится к 19 мая, когда через Чيانо берлинскому полпреду Мерекалову были переданы первые „авансы“ оси. 26-го мая в Горках у Сталина собралась основная „семёрка“ с Молотовым, Ворошиловым, Андреевым, Ждановым, Берия и Микояном. Решено, что державы оси могут быть гораздо более полезными Советскому Союзу, обеспечив ахиллесову пяту его на Дальнем Востоке, и поэтому следует пойти на переговоры с ними, держа все в величайшей тайне.

В Берлин посылается специальным агентом Астахов, из донских казаков, член партии с 16-ти лет, участник севастопольского бунта французских моряков в 1918 году, потом последовательно шеф советского прессбюро в Токио и поверенный в делах в Анкаре. Являясь сотрудником Карахана, он был вместе с ним арестован, дал против своего шефа предательские показания, на основе которых тот и был расстрелян; был выслушан лично Сталиным, завоевал его полное доверие и с тех пор не раз исполнял наиболее деликатные и секретные поручения. Отправленный в Берлин, Астахов поддерживал связь непосредственно с личным секретарем Сталина Маленковым, которому посылал почти ежедневные отчеты, минуя органы министерства иностранных дел. В Берлине он был в непрерывном общении с Риббентропом, пять раз имел тайную аудиенцию у самого Гитлера. С другой стороны, непосредственно в Москве работал германский посол граф Шуленбург, обещавший, что Германия уговорит Японию воздержаться от подготовки в Монголии плацдарма для наступления в районе озера Байкал. Что же касается до неохоты Лондона гарантировать независимость балтийских лимитрофов (принятое тогда название Литвы, Латвии и Эстонии – *В.С.*), то он в противовес предлагал раздел сфер влияния: Эстонию и Латвию – Советскому Союзу, Литву – Германии.

К 15 августа у Риббентропа и Астахова был готов окончательный проект „договора о ненападении“. За формальным текстом крылось широкое экономическое соглашение, по которому Москва обязывалась непрерывно, не исключая случая войны между среднюю Европой и Западом, снабжать Германию продовольствием, нефтью и сырьем, особенно для тяжелой промышлен-

ности. Раздел Польши в случае ее военного разгрома, разграничение сфер влияния в Прибалтике, обещание советской дипломатии удержать Турцию в рамках нейтралитета и, наконец, секретная – через руки Москвы – немецкая поддержка Чан-Кайши против Японии.

17 августа проект договора Риббентропа-Астахова был рассмотрен политбюро, затем был одобрен „головкой“ Коминтерна, и под него было подведено теоретическое обоснование: фашисты все же национал-социалисты; правда, их социализм – скорее государственный капитализм, но он выше частного капитализма и, следовательно, исторически ближе к социализму и коммунизму. Особо, наконец, подчеркивалось требование освободить германских коммунистов из концлагерей.

А на следующий день после подписания договора был арестован Максим Литвинов. Он обвинялся в стремлении сделать Советский Союз орудием капиталистического англо-французского блока и втравить его в кровавую чужую междоусобицу в интересах лондонского Сити. Заговорили о новом показательном процессе, в котором рядом с ним будут и некоторые военные, с маршалами Блюхером и Егоровым во главе.

О эти процессы! Маршал Тухачевский был расстрелян как государственный изменник, действовавший в интересах фашистской Германии. Его вина доселе не доказана. Но предположим, что его политика действительно заключалась в содействии Гитлеру. Почему же тогда рядом с ним не покоится сам Сталин, которому блестяще удалось то, что не удалось Тухачевскому? И почему фотографии дружеского рукопожатия Сталин-Риббентроп и ликующего выражения их лиц после подписания договора, переполняющие все иллюстрированные журналы, не предъявляются в качестве вещественных улик такому же суду, который казнил Рыкова, Бухарина, Зиновьева, Камёнова, Пятакова и десятки других?

Источник осведомленности французского журнала "Matsch", естественно, хранится в секрете. Но для наших целей он не так важен. Нет в мире человека настолько наивного, чтобы предположить, будто германо-советский договор родился на свет в порядке непорочного зачатия, внезапным наитием духа святого. Ему должен был предшествовать долгий инкубационный период.

Не все ли равно, протекал он так или несколько иначе? Теперь спрашивается, как же понять, что все это время советская дипломатия переговаривалась с английской и французской о подробностях соглашения, упорно торгуясь о всякой частности, делая вид, что все это „всерьез“. На самом же деле уже предreshалась комбинация совсем иного рода, „по ту сторону баррикады“. Здесь мы имеем классический образец двуличности, в которой обвинял, за которую клеймил буржуазную дипломатию весь социалистический лагерь, а его большевистское крыло всех громче.

В 1917 году большевизм нажил себе немалый политический капитал, обличая тайную дипломатию и требуя немедленного опубликования всех секретных договоров. А секретная часть германо-советского договора? А относящиеся сюда секретные переговоры дипломатов сталинской школы с дипломатами школы гитлеровской – когда будут опубликованы они?

Но в сталинском маневре есть еще одна сторона, скользкость которой особенно коробит наше моральное сознание. Советской стороной в течении переговоров с британской и французской делегациями было выставлено настойчивое домогательство, чтобы, не дожидаясь политического соглашения (которое и не имелось в виду завершать), начались технические совещания специалистов трех сторон по выработке общего плана военных действий. Спрашивается: зачем? Чтобы вызнать, что именно могут и что рассчитывают сделать западные державы для помощи Польше? Ради платонического зрительского любопытства? Ради чисто военного теоретического интереса? Или? Но тогда, что отделяет это зазывание к себе военных миссий Англии и Франции, эту ставку на их доверчивость, от самой настоящей провокации?

Вступая в область взаимоотношений между тоталитарными державами, мы сразу попадаем в мир величайшего политического цинизма. Так, по утверждению западной печати, „Риббентроп сообщил Москве план военных операций Японии в Монголии“. Если это верно, то господа тоталитарные союзники „Антикоминтерна“ готовы в любой момент предать друг друга, и тогда не удивительно, что для Японии заключение советско-германского договора было громом с ясного неба, что оно вызвало добровольную отставку кабинета, проводившего политику тесного союза с Германией. В итоге Япония отозвала войска

из-под Гонконга, прокламировала свой нейтралитет и сделала первые шаги к сближению с Англией.

Советско-германский договор возмутил даже тех, кто ранее симпатизировал Москве. Самая левая фракция социалистической партии Франции опубликовала резкий протест против „советского удара в спину“; Союз социалистической молодежи призвал своих коммунистических коллег понять, что они отныне „не только солдаты Москвы, но и солдаты Гитлера“; шахтеры Северного департамента квалифицируют договор, как „неслыханный акт измены“; коммунистические мэры ряда городов аннулировали новые названия улиц, связанные с именем Сталина, Ленина и других; союз французской интеллигенции с такими видными советофилами, как Жолио-Кюри, Ланжевен, Перрэн, Виктор Баш и другие, выразил свое горестное изумление двуличной советской политикой. Подписанный договор будущий историк назовет, вероятно, торжеством единой тоталитарной сущности большевизма и фашизма над разницей их социальных и идеологических традиций.

Валерий Смоленский – профессор-историк, живет в Израиле.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

Тель-Авив 61440, п/я 44050, тел. 03-394525

предлагает

ДАВИД ТАКСЕР. Иск (роман-воспоминание). Худ.
В. Богуславский.

Реалистическое по фактам и одновременно детективное по сюжету произведение, посвященное судьбе молодого офицера советских оккупационных сил в Германии, любившего молодую немку и пытавшегося бежать с ней на Запад.

РЕЦЕНЗИИ

Леонид Колганов

БЫТ И БЫТИЕ БОРИСА КАМЯНОВА

В своем недавнем интервью, опубликованном в газете „Время“, на вопрос Ларисы Александровой – „кем вы ощущаете себя – русским литератором или русскоязычным?“ – Борис Камянов ответил: „Мое дело – писать, а какой-нибудь ярлык после смерти уж точно навесят...“

Однажды, говоря о персидской, вернее, о персидско-таджикской поэзии, Гете заметил: „Из двадцати пяти своих великих поэтов персы канонизировали только семерых, а ведь многие из тех, кого они до конца не признали, – намного сильнее меня“. Говоря о семи канонизированных – только не совсем понятно, кем: персами? таджиками? иранцами? – Гете, очевидно, имел в виду Рудаки, Фирдоуси, Низами, Хайяма, Саади, Хафиза, Джамии. А из не до конца признанных, но превосходивших дарованием его, Гете, – таких поэтов „серебряного ряда“, как Санаи, Аттар, Баба Тахир и других.

Повторим свой простой и одновременно парадоксальный вопрос: А кем все-таки были эти, писавшие в течение пяти столетий, двадцать пять великих поэтов: персами? таджиками? иранцами? Ведь на территории тогдашней Персии не существовало пресловутой „пятой“ графы, а нынешние этнические таджики и иранцы существовали уже и тогда. Вопрос этот – не имеет ответа...

Теперь подойдем к вопросу о национальной литературе с другого боку. В течение двух веков – 18-го и 19-го – ведущую роль в русской жизни и политике играли немцы. Они были и ремесленниками, и чиновниками, и российскими императорами... Тем не менее, такого явления как русско-немецкая

литература или же культура не возникло, хотя в жилах Александра Блока, Марины Цветаевой и других великих русских писателей была значительная доля немецкой крови. Теперь подойдем к нашей проблеме – а размышляем мы с самого начала только о вопросе национальной литературы – с еще одного – третьего, если он существует – боку. „В девяностом году вы побывали в России, выступали там с большим успехом. Приехали вы туда уже не таким, каким выехали оттуда. Раньше московские любители поэзии знали богемного Камянова – гуляку, ерника. А теперь?“ – спрашивает Бориса Камянова в конце интервью Лариса Александрова. „А теперь они увидели того же Камянова, но в кипе, религиозного еврея с четким мировоззрением, представляющего себе кем, как и с какой целью устроен мир. Человека, который благодарен своему прошлому и никогда не откажется от него – ведь именно оно определило его настоящее“, – отвечает поэт.

...Итак, Борис Камянов – еврей. Евреи и немцы в России... нынешнее отношение к евреям в России очень сходно с тем отношением, которое наблюдалось в конце прошлого века к немцам. Приблизительно те же самые обвинения: засилье, все-силье, всевластье... Так вот: если российско-немецкой культуры не возникло, то русско-еврейская культура – налицо! „Боже! Я не знаю, что делать с нынешней российско-еврейской культурой!“ – полушутя-полусерьезно писал недавно Василий Аксенов. Так кем же, все-таки, были те, писавшие в течение пяти столетий, двадцать пять великих поэтов? персами? таджиками? иранцами? Думаю, что персами из них были те, кто наиболее страстно, наиболее чувственно отразил дух, плоть и сущность „ширазских мучительниц роз“. А делали это они все. Поэтому всех их я считаю не таджиками, не иранцами – а персами, ибо „розы Ширази“ для меня олицетворение национальной души Персии. Два моих самых любимых русских критика – Вадим Кожинов и покойный Юрий Карабчиевский – высказали в свое время два диаметрально противоположных мнения о значении слова и поступка в поэзии. „Поэт не человек поступка, он человек слова. Слово и есть поступок поэта. И не только слово-глагол, слово-действие, но любое слово, его фактуру, его полный внутренний смысл и весь объем связанных с ним ощущений“, – писал Карабчиевский.

„Стихи должны быть не словами, а делами. Иначе поэт будет

высказывать какие-то мысли, поучения, чувства, но стихи его не будут живыми поступками. Он будет говорить о чем-то, но не что-то, петь горлом, а не грудью“, – считает Кожинов.

А истина, как всегда, где-то посередке. Истина всегда, как жизнь, как река, – в текучем состоянии. Она даже колеблется между правдой и ложью, ибо „на голой правде, как на камнях, ничего не растет“. А подлинный поэт и есть человек слова и поступка – одновременно. Плоть у него всегда переходит в дух. Именно таким поэтом и является Борис Камянов. У него, как мало у кого, плоть переходит в дух, а быт – в Бытие, как в Ветхом Завете.

И в центре тишины большой,
На стыке бытия и быта,
Внезапно ощутить душой,
Что очень важное – забыто, –

пишет он в одном из своих стихотворений.

Именно это четверостишие я и взял бы эпиграфом к этой статье, так как оно великолепно характеризует все творчество Камянова. Итак – слово, переходящее в поступок, плоть – в дух, быт – в Бытие. Это основные ориентиры поэзии Камянова.

Я повешусь, наверное, в полночь,
Водку сладкую залпом допью
И наброшу спасительный обруч
На горячую шею свою.

Напоследок оставлю записку:
Мол, прошу никого не винить...
От души моей к лунному диску
Паутинкой протянется нить.

Будет корчиться брненное тело,
Зацепиться за воздух спеша...
Только поздно – уже улетела
Ввысь по лунной дороге душа.

Не чужда ни добру, ни пороку,
Не изведавши счастья, она
Прилетит, покаянная, к Богу.
Ей покоем воздастся сполна.

Любой подлинный поэт ежедневно утоляет свою духовную жажду живой и мертвой водой. Этот мотив есть и в поэме Камянова „Похмелье“. Но в ней уже главным героем, несущим в себе животворное моцартианское и мертвящее сальерианское начала, является весь русский народ.

Любимый мой, униженный народ,
Запутанный в безверии и вере!
Ты сам себе и жертва, и сексот,
Ты сам себе и Моцарт, и Сальери!

Или вот еще одно стихотворение, которое является словом-поступком уже в прямом, а не в метафизическом смысле:

Какая это сладкая тоска:
Вернув себе прадедовское имя,
Гореть в костре родного языка,
Потрескивать глаголами сухими!

Оставив там, за тридцать земель,
Полжизни и разбитое корыто, –
Какое счастье слово „Израэль“
Произносить свободно и открыто!

Я выучу иврит как „дважды два“.
Но никогда мне не забыть такие
Совсем простые русские слова:
– Дочурка.
– Мама.
– Бедная Россия.

Стихотворение это было написано в 1976 году, когда Камянов приехал в Израиль, но помимо любви к исторической Родине, в нем, хочет ли он этого или нет, сквозит такая потаенная любовь к стране исхода, которая и не снилась многим тамошним „профессиональным патриотам“.

В своем предисловии к первой книге Камянова „Птица-Правда“ Анатолий Якобсон писал: „Стих Камянова – определенной генеалогии, породы, – такой стих принято в нашу пору называть „традиционным“ (в отличие от всех видов „модерна“). Полагаю, что этот стих и есть как раз самый современный, ибо за последние, скажем, полвека в подобной манере работающие мастера завоевали вершины русской поэзии“. Я полностью солидарен с

этими словами о присущей Камянову неотрадиционной, а скорее – вневременной манере письма, в которой как бы присутствуют и шевелятся все времена, как средневековье, так и еще не наступивший двадцать первый век. „А я – для всякого столетия!“ – писала о своем творчестве Марина Цветаева. Таким вот неотрадиционным или же вневременным стихотворением заканчивает Камянов свое интервью газете „Время“. Называется это стихотворение „Долг“.

- Ты где работаешь?
- Нигде.
- А где живешь?
- Нигде.
- Так ты, наверное, в беде?

- Я не в беде. Нигде.
- Кому ты должен?
- Никому. Лишь Богу одному.
- Кому ты нужен?
- Никому. Ни людям, ни Ему.

- За что ты Богу задолжал?
- За то, что тут, на дне,
Создал меня и даровал
Судьбу Он волчью мне.

- Так уходи из жизни, волк,
Коль тяжела она!
- Я не уйду, пока мой долг
Не выплачен сполна.

Да – это воистину – „для всякого столетия“...

Сыновним отношением к Богу пронизано почти каждое стихотворение Камянова.

Продолжая тему быта, переходящего в Бытие, хочу привести здесь еще одно стихотворение Камянова.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР

Герда беременна. Триппер у Коя.
Сказочник, грусть самогонкой развея,
К рампе подходит и сказку ведет,
В кровь раздирая запекшийся рот.

Жизнь закулисна. Принцесса стервозна.
Смотрит на мужа – на Ворона – грозно.
Пятна на коже от ревности черной:
Ворон Ворону прижал в гримуборной.

Пьеса идет – и свершается чудо:
Герда – порочная девка, паскуда –
Нежною девочкой в сказку вошла,
Юность над залом простерла крыла.

Сказочник мудр, и принцесса беспечна,
Принц и Вороны добры бесконечно.
В жизни тепла не имея и ласки,
Люди на сцене дорвались до сказки.

Зло отступает. Добро побеждает.
В зале детишки вопят и рыдают...
Сказка окончена. Зал опустел.
Запах на сцене распаренных тел.

Жизнь продолжается. Свара за сценой.
Ворон дрожит пред супругой бесценной.
Сказочник пьет между пыльных портьер.
Кей на уколы идет в диспансер.

Дверь закрывает швейцар величавый,
Дети уходят веселой оравой...
Дети – идите! Живите на свете.
Светлая сказка окончена, дети!

При всей своей мрачности – все стихотворение пронизано каким-то странным ирреально-золотистым светом.

Во многих стихах Камянова судьбы России и судьбы российского еврейства переплетены настолько, что аналогии типа „вопрос еврейский есть русский вопрос“ напрашиваются сами собой... Чего только стоят такие строки Камянова из стихотворения „Шлюха“:

... А мне она:
– Все – сволочи! Евреи ж
Готовы пожалеть любую блядь.
Мой миленький! Меня ты пожалеешь!
Тебе я буду ноги целовать!

„У меня двойное гражданство: Эрец Исраэль и великого рус-

ского языка. Никакого противоречия в этом не вижу. Полная гармония“, – говорит в конце своего интервью газете „Время“ Борис Камянов. Так к какой же литературе – русской или русскоязычной – принадлежит он? К какой литературе принадлежали двадцать пять великих персидских лириков, так пронзительно воспевших „ширазских мучительниц-роз“ – персоязычной? таджикоязычной? ираноязычной? Нет – только к персидской! К какой литературе принадлежал „раблезианствующий шваб“ Борис Пильняк (Boray), как никто другой в двадцатом веке отобразивший стихийный порыв России? Несомненно – к русской, – вернее – к российской. К той же самой российской литературе принадлежит и Борис Камянов, в стихах которого корчатся, корячатся и агонизируют несколько поколений российских людей разных национальностей.

Напоследок хочу процитировать небольшой отрывок из интервью, взятого у мудрого и светлого волшебника Григория Израилевича Горина. Оно также имеет прямое отношение к Борису Камянову: „Я не считаю себя русским человеком, хотя я русский писатель. Я считаю себя российским человеком. И это правильно. Потому что сейчас происходит формирование новой нации – российской. Может, в этом было назначение неудавшейся перестройки. Тут не важно, кто ты: татарин или русский. Есть российский писатель Фазиль Искандер. Большого россиянина, чем Булат Окуджава, просто нет. Самое главное, что создала Россия, – свою культуру. Вот это не разрушить бы. Американцы вовремя сообразили это. Поэтому Сароян – часть их культуры. Грузин Баланчин создал американский балет, Барышников, русский, танцует в нем. Я бы хотел, чтобы российская нация создалась на основе культуры. Ну, была такая странная страна, где главные гении культуры – даже не русские по крови. Пушкин – эфиоп, Гоголь – украинец, Лермонтов – шотландец, Даль – датчанин, Достоевский – поляк, крещеные братья евреи Рубинштейны создали консерваторию. Есть великие российские поэты Пастернак и Мандельштам. Ну и прекрасно! Что вы отторгаете-то? Драться, что ли, будем, выясняя, русский Левитан художник или еврейский? Да он российский! Ни от чего не надо отказываться. Этот особый склад культуры и есть большой ее плюс. Надо его узаконить, воспеть, тогда и уезжать отсюда не надо будет...“

...Заканчивая эту статью и, одновременно, мысль, высказан-

ную Григорием Гориным, хочу сказать, что Борис Камянов, о котором идет речь в моих заметках, принадлежит к плеяде больших российских поэтов и писателей нерусской национальности. Таких как Евгений Рейн, Сергей Довлатов, Фридрих Горенштейн, Тимур Зульфикаров, Олжас Сулейменов, Зинаида Палванова, Ирина Ратушинская, Эвелина Ракитская, Александр Сопровский и многие другие.

Книгу стихотворений

БОРИСА КАМЯНОВА

«ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ»,

изданную в Москве в серии «Израильские писатели в культуре России», можно приобрести, выслав чек на 18 шекелей или на 12 долларов по адресу:

B. AVNI, HILLEL Str., 9, Jerusalem, Israel

(цена включает пересылку)

Главный редактор — Александр ВОРОНЕЛЬ
Ответственный секретарь — Михаил ХЕЙФЕЦ

Редакционная коллегия:

**Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ,
А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Д. ЦИФРИНОВИЧ,
И. ЧАПЛИНА**

Заведующая редакцией — Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка — Нина РАДАЙ

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции — 03-394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле 100 шек., для организаций — 110 шек., за рубежом — 75 долларов (авиапочтой в Европу — 85, в США — 90 долларов), для организаций — 95 долларов

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране — 80 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в перепisku по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

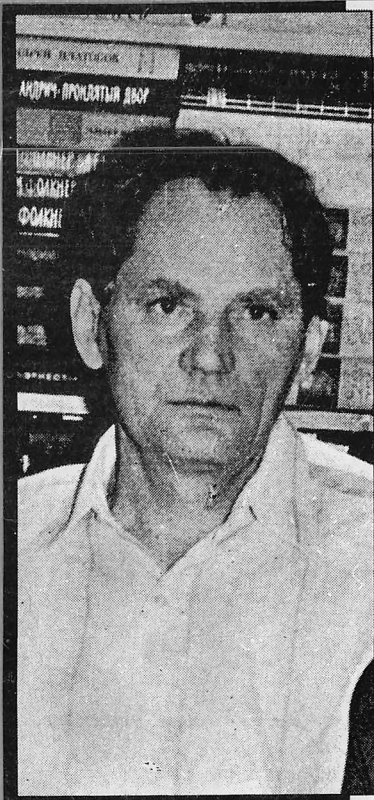
.....

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050



*Концусь, останусь жив ли, —
чем зарастет трава?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.*

*Школьные коридоры —
тихие, не звенят.
Красные помидоры
кущайте без меня.*

*Как я дожид до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.*

*Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кущайте без меня.*

1947 г.
г. Путивль, тюрьма КГБ

Умер в Харькове замечательный русский поэт Борис Чичибабин. В последние послеперестроечные годы его широко издавали и чествовали на родине. Однако настоящая слава пришла к нему гораздо раньше, когда стихи его заучивали наизусть и передавали из уст в уста. Многие из них были написаны в тюрьмах и лагерях.

Те, кто помнят